

Луиза Мэй



Мне больно

ВТОРАЯ ЖЕНА

18+

РИПОЛ КЛАССИК

Психологический роман

Луиза Мэй
Вторая жена

«РИПОЛ Классик»

2020

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)6-44

Мэй Л.

Вторая жена / Л. Мэй — «РИПОЛ Классик»,
2020 — (Психологический роман)

ISBN 978-5-386-14953-6

Сандрина ненавидит себя: свое слишком большое тело, свое слишком круглое лицо, свою слишком маленькую квартиру, свою слишком скучную жизнь. Но все это перестает иметь значение, когда она встречает мужчину, который плачет. Его жена пропала, и Сандрина смогла заполнить пустоту в его душе, взять на себя заботу о его сыне, быть частью его жизни... пока вдруг первая жена не объявилась, и мир Сандрины не перевернулся с ног на голову. Какие тайны хранит первая жена, потерявшая память? Кем на самом деле является муж Сандрины: скорбящим мужчиной или жестоким тираном?

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)6-44

ISBN 978-5-386-14953-6

© Мэй Л., 2020
© РИПОЛ Классик, 2020

Содержание

Предисловие к русскоязычному изданию	7
1	9
2	13
3	25
4	27
5	35
6	38
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Луиза Мэй Вторая жена

Круглосуточный телефон доверия для пострадавших от насилия центра «Анна» (включен в реестр НКО, выполняющих функцию иноагента)

8-(800)-700-06-00

Горячая линия для жертв домашнего насилия #ТыНеОдна

8—(800)—101—65—47 (для мужчин)

8—(800)—101—64—76 (для женщин)



Перевод с французского Е. В. Трынкиной

La Deuxieme femme

© 2020, editions du Masque, un departement des editions Jean Claude Lattes.



© Трынкина Е. В., перевод на русский язык, 2023
© Издание. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2023
© Оформление. Т8 Издательские технологии, 2023

Предисловие к русскоязычному изданию

Проблема домашнего насилия в нашей стране стоит очень остро. По статистике, каждый третий россиянин с ним сталкивается в ближайшем окружении, в том числе в собственной семье. Домашнее насилие – самый скрытый вид преступлений, и пока у государства нет инструментов, чтобы бороться с этим социальным злом. Сегодня у нас нет даже объективной статистики: из-за декриминализации побоев цифры, которые дает МВД, не отражают реальной картины.

Не так давно по заказу Госдумы ученые СПбГУ провели большое экспертно-аналитическое исследование о профилактике преступлений в семейно-бытовых отношениях у нас и за рубежом: какие законы приняты и как они работают. Его результаты подтвердили нашу правоту: во многих российских семьях насилие по-прежнему остается нормой. При этом почти половина случаев домашнего насилия происходит на регулярной основе, а значит, необходимо вести постоянную профилактику этих преступлений.

Оценить реальные масштабы трагедии сложно: пока нет соответствующего закона – нет и соответствующих определений. Для общего понимания хочу сказать, что, когда мы говорим о домашнем насилии, мы имеем в виду систематически повторяющиеся акты психологического, физического, сексуального и экономического воздействия на женщин, которые осуществляются против их воли, с целью обретения власти и контроля над ними. В 2016 году в нашей стране декриминализировали побои. В итоге насилие не прекратилось: оно просто стало скрытым. Официальная статистика показывает снижение насилия в два раза. А на самом деле то, что до 2016 года считалось преступлением, теперь перестало так называться и в статистику не попадает. Поэтому статистики по домашнему насилию не существует, но МВД дает нам статистику преступлений, совершенных в семье. На 2020 год – 32 557 потерпевших, из них 22 000 женщин. И в отношениях супруг – супруга абсолютное большинство пострадавших тоже женщины. В России за последние годы произошло несколько резонансных случаев домашнего насилия, тысячи женщин ежегодно подвергаются побоям.

Чтобы системно бороться с домашним насилием в России, необходим закон, где будут четко прописаны основные понятия и определения: что такое насилие и преследование, кто входит в круг пострадавших, как полиция должна реагировать на сигналы о домашнем насилии и многое другое. Все это есть в нашем законопроекте, который находится в открытом доступе на сайте сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна». Я советую всем желающим ознакомиться с этим документом.

Над законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия в течение двух предыдущих лет трудилась рабочая группа, в которую вошли представители Госдумы, Совета Федерации, всех профильных министерств и ведомств. Мы учли все замечания Минюста, с этим ведомством мы взаимодействовали максимально плотно. Сейчас уже не стоит вопрос, нужен закон или нет, речь идет о том, каким он должен быть: какие понятия должны быть прописаны, какие механизмы интегрированы в действующее законодательство.

Несмотря на сопротивление консервативных кругов, этот закон будет принят. Рано или поздно. Я говорю об этом уверенно, потому что есть очень мощный общественный запрос. Судите сами, по данным ВЦИОМ, закон о профилактике семейно-бытового насилия поддерживают 70 % россиян, по данным «Левада-Центра»¹ – 79 %. Наша рабочая группа в Госдуме продолжает заниматься законопроектом, к нам подключаются все больше депутатов, причем

¹ АНО «Левада-Центр» внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

не только женщин, но и мужчин, которые воспитывают дочерей и желают им лучшего будущего. Аналогичную работу параллельно ведут коллеги из Совета Федерации.

Для того чтобы закон приняли, необходимо расставить государственные приоритеты. Если мы не будем беречь женщин (в процентном соотношении они – главные жертвы подобных преступлений, потом идут старики, затем дети), рожать скоро будет некому, а рожать здоровых детей – тем более. Насилие напрямую отражается на репродуктивном здоровье. На ментальном в том числе. Закон необходим. Нужен понятийный аппарат, нужно оказывать помощь потерпевшим, нужно потерпевших физически защищать. Для того чтобы это все делать, государственные органы должны работать слаженно друг с другом. Согласно закону.

*Оксана Пушкина,
журналист, общественный деятель*

1

Что-то изменилось.

Сандрина вглядывается в зеркало, пытаясь уловить, вычислить, что не так, что не на месте. И в то же время впервые в жизни она чувствует: нечто неведомое находится как раз там, где надо.

Она стоит голышом, еще мокрая от прохладной воды, которой обливалась не столько для того, чтобы помыться, сколько из потребности унять жар в прилипающих к полу, неподъемных, словно гири, ступнях.

Летом она мыться не любит. Зимой вылезать из ванны не страшно: пар успевает набросить пленку на стекла и затуманить все очертания; даже если невольно заметить себя в зеркале, можно не вдаваться в детали, обойти вниманием свою бесформенную, размытую фигуру. Игнорировать себя. В жаркие дни, когда хочешь не хочешь, а надо споласкиваться прохладной водой, есть риск наткнуться глазами на свое отражение, и вот тогда страх сковывает движения и заставляет низко опускать голову.

Но что-то изменилось: впервые за долгое-долгое время – может быть, за всю жизнь – она вглядывается в себя не с отвращением, а просто из любопытства, спокойно, чуть ли не доброжелательно. Ее плоть, ее оболочка ровно такая же, как всегда, но все же, все же что-то изменилось. И она не понимает что.

Так странно – смотреть на себя в зеркало и не хотеть рычать, стирать, кромсать, растворять. Не цедить сквозь зубы: корова, жирная корова, толстая уродина, тупица, тумба с ушами. За резкими словами она ищет выход презрению, что течет в ее жилах с тех пор, как она себя рассмотрела, и не находит. Будто в первый раз она оглядывает узкие покатые плечи; малюсенькие, напоминающие груши груди, изначально вялые и поникшие; живот, который никогда не был плоским; жирные ляжки, терзающие ее с наступлением тепла: летом они до крови трутся одна о другую, так что юбка у нее под запретом, иначе к вечеру придется ковылять, точно гусыня. Она из тех, кто даже в самый жаркий зной ходит в джинсах, из тех, кто содрогается, когда наступает пора воздушных тканей. Если б она могла, то жила бы в краю вечной зимы и куталась бы там в стыд и смущение. Пряталась бы от чужих глаз под одеждой, потому что только так положено поступать жирным коровам, толстым-толстым уродинам, тупицам, безголовым Дурам.

Она все та же. Но что-то изменилось.

Она влезает в ночную рубашку. Это он ее подарил и требует надевать. А она? Она хочет сделать ему приятное. Не говорит: рубашка слишком короткая, фасон не ее, синтетика липнет к коже, узкие бретельки к утру врезаются в плечи. Он настаивает, она уступает.

Выходит из ванной и идет босиком по линолеуму. Второй этаж, в коридоре уже темно, хотя час не слишком поздний; сентябрь, чьи ночи отгрызают кусочки у еще изнемогающих от тепла дней, каждый год застигает ее врасплох.

У Матиаса дверь нараспашку. Он ее всегда закрывает – соня-полчок, мышонок, ежик, вечно скукоженный комочек. Отец приходит с проверкой и оставляет дверь открытой, и это война без слов; порой до первых лучей зари она слышит легкий топоток и скрип двери, но отец всегда берет верх, и его сын в отместку прячется под одеялом, точно в гнездышке, сворачивается крохотным шариком, огораживается стеной из пуха и плюша нежной расцветки. Сандрина очень любит малыша и когда видит, что даже в самые жаркие ночи он закутывается с головой в одеяло с грузовичками и белыми воздушными шариками, он делается ей до боли родным и близким, как если бы этот мальчик был ею, как если бы он был ее.

Но это не так. Он не ее. Матиас – сын своего отца, она, Сандрина, появилась позже. И после переезда в этот дом каждый раз, когда она вспоминала, что в ее жизнь, жизнь толстой

коровы, толстой-претолстой уродины, дуры и тупицы вошли эти двое, от счастья у нее захватывало дух.

В коридоре горят лампы, желтый луч проникает в комнату малыша, точно наглый захватчик.

Она смотрит на постель и видит одеяло, только одеяло. В комнате сумрачно; свет, вторгающийся в нее из коридора, растекается по полу. Мальчик любит ночники, но его отец считает, что он уже большой. Если Матиас не хочет спать в темноте, ему надо всего лишь оставить дверь открытой, поскольку в коридоре лампу на ночь не гасят. Одеяло тихо приподнимается и опадает в такт дыханию. Она осторожно прикрывает дверь, не захлопывает, но и не оставляет нараспашку. В маленькой войне она ни на чью сторону не встает.

Сандрина идет дальше, ее тень сдвигается по стене коридора и достигает лестницы. Темный силуэт становится виден в самом низу, в гостиной, и ей это известно; если он хочет знать, что она делает, ему надо лишь бросить взгляд на стену. Поначалу это было странно и в то же время грело душу. Он всегда очень интересуется каждым ее шагом и глаз с нее не спускает. После стольких лет одиночества, когда она жила только для себя, она чувствовала себя нужной, той, кого оберегают и ждут, и от этого ее бросало в жар.

С лестничных перил свешивается цветастая блузка. Он купил ее на рынке. Сама она никогда ничего не покупала просто так, ни с того ни с сего: десятилетия мелких крушений, катастроф и разочарований, беззвучно проглоченных в примерочных кабинках, сделали ей прививку от сиюминутных прихотей.

Но ему блузка понравилась. Он настоял. Минувшим летом он хотел видеть ее в легких нарядах, она молча противилась и часто уступала.

Сандрина очень внимательна к тому, что носит. Лишний вес и общая рыхлость лишили ее права на ошибку. Она уже не нуждается в советах экспертов по морфологии, которые утверждают, что если фигура похожа на восьмерку, то надо подчеркивать талию, а если на слезу – то грудь. Такую, как она, не увидишь в глянцево-журнале, ее телосложение – это полный провал, и она постепенно и мучительно научилась выбирать то, что лучше всего маскирует изъяны. Все, что наверху, должно быть с прямыми плечами и убирать с глаз долой шею, плавно перетекающую в слишком толстые руки. Безразмерным блузкам надлежит прятать валики на животе, эти волны прилива, которые наотрез отказываются от отлива, несмотря на упорные тренировки и жестокие голодания. Джинсы с завышенной талией она покупает на заказ или подгоняет вручную. Это дорого, у нее их мало.

Она примерила блузку и нашла себя отвратной, это было вчера, бросила ее здесь, на деревянных перилах, и больше не отважилась к ней прикоснуться. Он не хочет, чтобы она кому-нибудь подарила эту вещь, вернуть продавцу нельзя, и он говорит, что блузка ей идет.

Это подарок. Мне приятно. Носи.

Сандрина берет блузку, чтобы отнести в прачечную. Бог знает, кто ее примерял и откуда она на самом деле, от греха подальше лучше постирать.

Прикосновение к отвратительному, враждебному предмету вернуло ее с небес на землю. В течение многих лет она тщательно составляла свою повседневную униформу. Потому что одеваться было пыткой, хуже только голой ходить. В тот день, когда мать уговорила ее примерить слишком узкую юбку, она до крови расцарапала себе ляжки. Она знала, что юбка будет мала, что мать просто хочет посмотреть, как она ссутулится и покраснеет от унижения, как выпирающие бедра послужат непреодолимым препятствием для того, чтобы эту юбку носить. Одежда – враг, от которого надо держаться подальше и с которым следует быть настороже. Сколько раз она плакала, мучилась, пытаясь носить то, что ей не идет, по горло сыта этими экспериментами, но со вчерашнего дня он пристал с этой блузкой так же, как все лето требовал, чтобы она надела «что-то другое» – «что-то другое» вместо униформы, вместо доспехов, выстраданных за долгие годы. Он твердил, что будет очень мило, и не унимался, пока она не

согласилась примерить. Примерила. Посмотрела в зеркало и нашла, что она толстая, некрасивая, жирная корова. Это было утром, но стыд терзал ее до самого вечера. Он сказал, что блузка ей идет и что он не любит, когда вещи валяются где попало; и вот она собралась в прачечную, а там будет видно.

Делает глубокий вдох и кончиками пальцев берет блузку за плечики – слишком узкие, слишком податливые, держит ее перед собой на вытянутых руках. При одной только мысли, что это придется носить, умереть можно, но нет.

Ведь на самом деле что-то изменилось. Она не знает что, но думать об этом не хочет.

Спускается по ступенькам, сосредоточившись на своих ощущениях. Под босыми ногами сухое и приятное дерево, чей тонкий узор, как ей кажется, оставляет отпечатки на подошвах. Она старается забыть о зеркале в ванной – о зеркале, которое ей не захотелось разбить, и о блузке, которая, если на то пошло, всего лишь кусок ткани, и только. Не будет она думать о том, что изменилось, почему ей в кои-то веки не хочется избавиться от чего-то. Она думает, что лестница слегка запылилась, что надо найти время и пройтись по ней пылесосом, но этим она займется завтра.

Сандрина знает, что, спустившись на первый этаж, увидит его лицо; всякий раз, когда она входит в гостиную, его голова повернута в ее сторону. В первое время от этого ее бросало в жар, а в животе начинало покалывать в самом верху, под ложечкой.

Но он не оборачивается на ее шаги, в первый раз он не подкарауливает ее.

Сидит в том же кресле перед тем же телевизором, но не оборачивается, не смотрит, как она спускается. Уже совсем стемнело, гостиная залита голубоватым светом от большого экрана. Звук тихий, но можно различить голос репортера, который говорит, что парижская больница Питье-Сальпетриер принимает не только лиц, страдающих болезнью Альцгеймера и другими дегенеративными заболеваниями нервной системы, но и тех, кто попросту забыл, кто он, как, например, эта женщина.

Передают новости, голоса исполняют свою мелодию, подчиняясь неведомой логике, ставят запятые в неожиданных местах, вопрошают там, где нет никакого вопроса.

Она подходит ближе². Голос продолжает звучать. Говорит мадам Икс... прибыла в Питье всего несколько дней назад... прямо из Италии, где она провела больше года, отказываясь говорить, в приюте, прежде чем начать вдруг говорить по-французски.

Когда Сандрина доходит до кресла, он поворачивает к ней свое блестящее от испарины лицо. В гостиной душно, ставни были закрыты от солнца, и сейчас самое время их распахнуть, впустить свежий ночной воздух. Она уже хочет спросить, *можно ли, хочет ли он*, потому что это его дом; она всегда спрашивает разрешения, несмотря на кружку с ее именем в буфете и ее ботинки у входной двери, она по-прежнему не осмеливается сказать «у нас, у меня дома». Но он открывает рот, и она молчит. Он говорит:

– Это она. Это она.

Голос бесцветный, незнакомый, иногда, когда он возражает, его голос становится резким, и ей не нравится эта туго натянутая струна – из-за нее слова звучат с угрозой. Однако сейчас все совсем иначе.

– Кто? Кто «она»? – спрашивает Сандрина.

На экране женское лицо. Брюнетка, черты строгие. Она курит, опершись на каменный столбик во дворе с большими деревьями, место выглядит нерядовым, старинным. У нее длинная прямая шея, тень от подбородка падает на ключицы, на худые плечи. У нее округлая грудь, а когда она подносит сигарету к губам, становится видна рука с красиво очерченными мускулами.

² Здесь и далее по мере возможности сохранена авторская пунктуация. – *Здесь и далее примеч. пер.*

У женщины на экране есть все, чего нет у Сандрины, и она ей знакома. Женщина на экране улыбается с фотографии, что стоит на буфете в желтой рамке.

Взглядом терпящего кораблекрушение Сандрина смотрит на фото, потом на экран и обратно на фото, глаза мечутся туда-сюда в последней надежде: вдруг это не она, ведь этого не может быть, она мертва, пропала, растворилась, она пустое место в постели, мать, которой больше нет.

– Кто? – переспрашивает Сандрина, как будто все изменится и исчезнет, если притвориться, что не понимаешь, как будто помощь подоспеет, если сделать вид, что ничего не случилось; но поздно, она идет ко дну и уже видит себя одинокой в своей прежней квартирке, там, где она ждала, когда же начнется жизнь, там, где, лишенная своего мужчины, она день за днем медленно пропитывалась одиночеством.

Она снова видит себя одинокой или хуже, чем одинокой, но какой – она не знает. Да нет, знает. Отвергнутой, отосланной назад. Он выкинет ее вон, поскольку другая жива. Раз жива, значит, вернется. Раз вернется, значит, он бросит ее, Сандрину. Место только одно, и в этот вечер она его потеряла. Он отделается от нее, уродины и толстой коровы.

Она.

Он не смеет назвать ее по имени.

Сандрина тем более.

Но на экране и в желтой рамке одна и та же женщина с черными поглощающими свет глазами, мать малыша, та, что была здесь до нее, та, что была сначала.

Первая. Первая жена.

2

Как он поступит? Как надо поступить?

До нее доносится голос репортера, она слышит, что после возвращения во Францию женщина горит желанием установить свою личность. Ей помогает полиция, которая копается в базах данных, просматривает дела о бесследно исчезнувших за последние годы. И, разумеется, все сотрудники Центра когнитивных и поведенческих нарушений будут рядом и постараются помочь больной обрести утраченную память. Тайна должна быть очень скоро – тут опять вопросительная интонация – раскрыта. Завтра вместе с нашей удивительной программой вы спуститесь в систему парижской канализации.

– Что будешь делать? – спрашивает Сандрина.

Он не отвечает, его глаза не отрываются от экрана, хотя сюжет закончился, и если бы сейчас кто-нибудь вошел в гостиную, то увидел бы пару, слушающую сводку погоды: завтра ясно, чуть теплее месячной нормы.

Сандрина смотрит на его макушку. Вспоминает, как в первый раз призналась, что ей нравится его голова, шевелюра, все, без изъятия. Что она любит прижаться губами к его волосам, вдыхать их запах, покрывать поцелуями; больше она так не делает: ему это не по вкусу. Он начал лысеть и не выносит даже слабых намеков на эту тему, раздражается, когда вечерняя прохлада или поцелуй напоминает ему о маленькой проплешине на темени. А она не могла без волнения смотреть на эту постепенно проступающую нежную кожу. И даже пыталась ему объяснить, что любит наблюдать за тем, как он меняется, что ей жаль, что она не познакомилась с ним раньше, что не знала его всегда. Что ей в радость быть рядом с любимым мужчиной и видеть, как со временем он преобразуется. Говорила, что его макушка – это как бы якорь на ее линии жизни, в которую она вошла так поздно. Что этот крохотный теплый пятячок подтверждает: она и в самом деле здесь, они нашли друг друга, она живет в этом доме с ним, его маленьким сыном, и она им нужна.

Сандрина встретила его, потому что он потерял жену. Свою жену.

Его первая жена пропала. Она видела это по телевизору, слышала о ее исчезновении по радио: когда первая жена не вернулась домой, он позвал на помощь. Остались ее родители и сын, вчетвером они переживали ее пропажу, он плакал, и его всхлипы взволновали Сандрину, проникли ей прямо в сердце. *Мужчина, который плачет*. Сострадание захлестнуло ее целиком, она думала: бедный муж, бедный муж и бедный мальчик, бедные родители, потерявшие дочь.

Родителям она сочувствовала меньше, ей никак не удавалось понять, что это такое – отец и мать, которые требуют вернуть им дочь. Ее, Сандрину, никто никогда не потребовал бы вернуть. Она всегда только стесняла, смущала. Слишком неуклюжая, слишком медлительная. Родители не выставили ее за дверь, но она знала, что они не желают видеть ее в своем доме. Отец с его окриками и грубыми замашками, всегда взрывающийся, когда Сандрина запиналась, и мать с ее вибрирующим голоском, уклончивыми фразами, с ее пустыми глазами и сухой, как у рептилии, кожей. Она не знала, что такое любящие родители, и была не в силах представить себе их горе.

Зато прекрасно разобралась в чувствах мужчины, который плакал перед камерами, мужчины с вырванным одним махом сердцем, с внезапно утраченной половинкой. С его болью он был ее близнецом; подспудно уже любившая неведомо кого, с сосущей внизу живота пустотой, увидев его на экране, она сразу поняла – да вот же он; ей не хватало именно этого плачущего мужчины, в чьих страданиях как в зеркале отражались ее собственные муки.

Он был раздавлен, рыдания перехватили ему горло, и к микрофону подошли его тесть и теща. От имени семьи они призвали всех выйти на Белый марш³, им нужно было хоть что-то предпринять, бездействие их убивало, они приглашали всех людей доброй воли к ним присоединиться. Отец, пенсионер с крупными руками и толстыми пальцами, обнимал за плечи мальчика с ничего не говорящим лицом.

Сандрина откликнулась на этот призыв. И до сих пор не знает, что придало ей смелости пойти на марш. Ведь она – тихоня, пятое колесо в телеге, та, которую их лицейская компания только терпела, та, о ком вспоминали во время переездов и забывали поздравить с днем рождения. С годами ее даже на переезды перестали звать, много лет она жила одна, с собой и своей работой, со своей крохотной квартиркой и машиной. Она жила одна, ведь ей не удалось даже пойти по протоптанной дорожке и окружить себя кошками, от которых у нее першило в горле и чесались глаза.

Жизнь ее была расписана и заполнена: в субботу утром – бассейн, потом рынок, кухня и готовка еды на неделю, в основном овощи, потому что надо следить за собой, затем книги, книги, много книг, чтобы дотянуть допоздна и пойти спать.

По воскресеньям она всегда вставала очень рано, ей бы очень хотелось присоединиться к тем, кто подолгу спит, кто может все выходные провести, спокойно посапывая в полукома-тозной дреме, но нет. В восемь часов, а иногда и раньше она просыпалась в пустой квартире, тишину которой нарушали лишь доносившиеся снизу детские крики. Она терпеть не могла этот шум. Вскакивала, подбегала к радио и включала громкую музыку на всю квартиру. Потом садилась в машину и отправлялась поглазеть на что-нибудь из ряда вон выходящее: на барахолки, где она ничего не покупала, или в Музей шнурков; однажды она заглянула в зоомагазин и через несколько секунд выскочила оттуда с тошнотой, подступившей к горлу, и с пропитавшим ее с головы до пят животным запахом отчаяния.

В понедельник она возвращалась к работе; подражая коллегам, зевала и вздыхала, но втайне радовалась, зная, что пять длинных рабочих дней избавят ее от ненавистных свиданий с самой собой и защитят. Вечерами после работы было проще, очень часто она устраивала себе поход в супермаркет, потом принимала душ, долго и тщательно занималась собой и непременно брила ноги, скручиваясь, точно гимнаст-эквилибрист. Прилежно, осмысленно наносила крем. Против целлюлита, жира на животе, растяжек, угрей, морщин, мешков под глазами. Одно надо уменьшить, другое увеличить: целая полка была полностью отведена под волшебные снадобья, от которых грудь якобы набухает и делается упругой, а слишком тонкие губы прибавляют в объеме. Потом ужин: овощи и овощи, ничего лишнего – и, наконец, кино; выбор был строжайшим, некогда она слишком близко к сердцу принимала любовные истории и теперь на дух не выносила слащавости и сюсюканья – предпочитала фильмы с крушениями всего и вся, взрывами и драками, сюжеты, в которых любовь служит лишь предлогом или наградой, а не дорогой по жизни. У нее не хватало сил и терпения проделывать вместе с прекрасными героями этот заказанный ей путь, и она окуналась в бессмысленные боевики и таким образом спокойно доживала до того часа, когда пора было ложиться спать.

Исчезновение первой жены поначалу не привлекло ее внимания. Однако новость дошла до региональных программ. Сандрина слушала сообщения вполуха, и ей в голову лезли довольно-таки недобрые мысли типа: «Нельзя иметь все сразу», как будто этим похищением женщина должна была заплатить за мужа, ребенка, дом, за жизнь, в которой есть все; или: «Что за дичь бегать одной по лесу». Она прекрасно понимала порочность таких рассуждений. И с некоторых пор начала чувствовать, что постепенно озлобляется.

³ Манифестация в поддержку родных и близких пропавшего человека, в знак протеста против бездействия полиции и властей.

Она стала следить за собой и в этом, потому что уже не единожды подмечала в себе это ехидство и злорадство. Ощущала, как тихо пульсирует в ней родительская кровь, подкрашенная мелочностью и тупой злобой. А первый раз она поймала себя на этом случайно. Ее машина сломалась, и пришлось ехать до работы на автобусе. В это утро ей не было нужды притворяться и делать вид, что она устала: туда, куда она обычно добиралась за двадцать минут, автобус тащился целый час. Напротив сидела пара. Он был низкорослым, толстым, из-под воротника вылезали густые черные волосы. Рубашка из синтетики в катышках была тщательно заправлена в брюки, слишком высоко затянутые ремнем. Она тоже была толстой, рыхлой, груди лежали на животе, живот на ляжках; на ней была юбка в цветочек, которая никак не сочеталась с поло-сатой водолазкой. Они держались за руки, глядели друг другу в глаза, улыбались и обменива-лись ласковыми словечками. Оба некрасивые, скверно одетые и – счастливые. Так что Санд-рина возненавидела их до самых печенок, напряглась всем телом, губы от отвращения сжались в ниточку. Выходя из автобуса, глянула на них с упреком и презрением, как будто эта пара делала что-то немыслимое, как будто они были чем-то ужасающим. Девушка почувствовала этот взгляд и подняла на нее глаза, а молодой человек инстинктивно крепче обхватил руку подруги. С губ Сандрины чуть не слетела колкость. Сколько раз незнакомцы бросали ей: «Тол-стуха», «Уродина», «Вам бы, девушка, сесть на диету», «Может, туец? Может, не надо жрать этот сэндвич?» И она, в свою очередь, чуть не сказала такую же гадость. А почему бы и нет, в конце-то концов? Эти двое были более чем отталкивающими, а ведь никто никогда не стес-нялся, делая ей больно. Но в последнее мгновение она одумалась. *Это не ты, нет, не ты, не делай этого, ты не такая.*

С трудом она сложила губы в подобающую улыбку, и это успокоило девушку с ее страш-ненькой юбкой и шеей, стиснутой воротом водолазки. Некрасивая и счастливая девушка со своим некрасивым и счастливым мужчиной. Руки чесались влепить ей пощечину. Выйдя из автобуса, Сандрина сделала несколько глубоких вдохов, но слюна во рту была горькой, а злобно поджатые губы с трудом расслабились лишь у самых дверей конторы.

После этого она добавила ненависть к длинному списку того, за чем ей надо следить. Она знала, что ей нельзя становиться злой; быть некрасивой и озлобленной – это совершенно недопустимо.

В первый раз услышав новость о пропавшей женщине, которая вышла на пробежку, но так и не вернулась, она много чего такого подумала, но потом взяла себя в руки и выпустила происшествие из своего поля зрения. Но о случившемся говорили долго, родители пропавшей не унимались, именно они заявили об исчезновении в полицию, именно они предупредили прессу. Плачущий мужчина был слишком сокрушен.

– Или это он ее убил, свою милую женушку? – однажды в обед предположила коллега по имени Беатриса, когда все дружно поедали на общей кухне содержимое своих таперверов⁴.

Обеденный перерыв сорок пять минут – маловато, чтобы куда-то сходить, маловато, чтобы завязать дружеские отношения, особенно когда ты застенчива. И Сандрина во время обеденных перерывов помалкивала, ибо в любом случае там было место только для тех, кто умеет болтать, кто смеет без стыда и колебаний, по-мужски, изложить свое личное мнение. Тем утром во время пресс-конференции с семьей, через неделю после того, как история дока-тилась до региональных газет, им впервые показали мужа в слезах, родителей в отчаянии и мальчика с потерянным выражением на лице.

Нет! Слово вырвалось у Сандрины против воли, и она густо покраснела, смутившись от своей выходки и своей уверенности. Все вздрогнули от неожиданности.

– Ты что-то знаешь? – опомнившись от изумления, переспросила коллега.

Нет, Сандрина ничего не знает, просто чувствует, и все.

⁴ Модные лотки, контейнеры и другая посуда из «здорового» пластика фирмы *Tupperware*.

И в воскресенье, в день Белого марша, она проснулась, без лишних раздумий села в машину и добралась до поселка, где жила пропавшая женщина, ни разу не признавшись самой себе, что едет к мужчине, который умеет плакать.

Народу было много. Родные, друзья. А также любопытные, сочувствующие и другие, кто, как и она, пришел по не совсем понятной причине, и Сандрина подумала: однако это странно – прийти затем, чтобы с ней, именно с ней, поделились горем. Она почувствовала себя воровкой, мошенницей.

Одетые в белое родители пропавшей женщины раздавали фото. Поначалу она не видела мужа, мужчину, который плачет, того, кто взволновал ее до глубины души. Только родителей, и на память ей пришлось сто раз попадавшееся в книгах выражение, которое она, по правде говоря, не понимала: «энергия отчаяния». Сейчас она ясно различала ее в напряжении, не отпуская эту пару; им было лет по шестьдесят, может, чуть меньше; они не стояли на месте, а переходили от одной группы к другой с фотографиями дочери в руках, и Сандрина поняла, что они ищут. Что они до сих пор ищут свою дочь. Уже четыре недели прошло с тех пор, как та потерялась на лесной дорожке, по которой бегала каждый день. Но они продолжали ее искать. С «энергией отчаяния». Это было еще до того, как нашли ее одежду и обувь, и для них Белый марш был не данью памяти, а собранием следопытов. Сандрина услышала, как они сказали кому-то, что полицейские уже прекратили поиски. Что искали плохо, да и газеты все реже вспоминают о случившемся.

Сандрина стояла в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу, утро было прохладным, изо рта вырывались дрожащие облачка пара. Перехватив чей-то взгляд, она чуть-чуть растягивала губы в улыбке – милой, озабоченной, сочувствующей. И говорила себе: я здесь, чтобы помочь, я здесь, чтобы помочь.

Наконец началось движение, люди вышли за границу коттеджного поселка. Их было около шестидесяти с лишним человек, получилась толпа, и она сказала себе, что, наверное, вот это и есть манифестация. Отец говорил, что манифестация – это когда всякие шлюхи болтаются по городу в окружении сраного сброда, увижу, что шляешься, башку оторву; так что в лицее, когда весь класс решил забыть о занятиях и придумал плакаты, обличающие систему, она осталась одна в дежурном помещении для студентов. Вечером по телевизору широким планом показали часть ее класса: девушки впереди со щеками, выкрашенными – ТОЛЬКО НЕ ЭТО! – губной помадой, вокруг парни; отец сказал: поглядите-ка на этих шлюшек, только попробуй попадись мне с ними как-нибудь, узнаешь что почем, и она ощутила облегчение и ярость оттого, что все пропустила, потому как уже видала что почем вечерами, когда отец выпивал; но раз так, раз видала, можно было и пойти, тяжко вздохнув, подумала она. Но нет, не пошла. Испугалась, сникла и осталась в дежурке одна. А когда порядок восстановился, она стала девушкой, которая не участвует в манифестациях, подхалимкой и предательницей.

В воскресенье, в день марша, она колебалась до последнего, не зная, пойти за толпой, углублявшейся в лес, который начинался сразу за поселком, или повернуть назад. Пора возвращаться домой, скоро обед, половина воскресенья позади, уже хорошо. Она топталась, сомневалась, и вскоре рядом с ней почти никого не осталось, а она так и не решила, куда двигаться.

И тут дверь одного из ближайших домов открылась, показался малыш, тот самый, из телевизора, а за ним из темноты вышел на крыльцо его отец – да-да, тот мужчина, который плакал и разбил ей сердце.

Вечером в постели она долго ворочалась с боку на бок, спрашивая себя без конца, как это она, тихоня, молчунья, набралась смелости заговорить с ними, подойти к мужчине, который плакал, и его сыну. Но она сделала это, она сделала это – повторяла она снова и снова, и щеки ее горели, кожа казалась наэлектризованной.

Она заговорила с ними, подойдя ближе к дому, сказала: «Я пришла, чтобы... чтобы поддержать», и он, запирая дверь, безучастно промолвил: «А, как мило». Потом она добавила: «Это, должно быть, ужасно для вас, я вам сочувствую».

И тогда он оторвал взгляд от своей руки, возившейся с замком, и *посмотрел* на нее, на Сандрину.

И теперь от этого взгляда Сандрина ворочалась в постели с боку на бок, и ей стало до того жарко, что пришлось все с себя скинуть; он на нее *посмотрел*.

Она знала только два, всего лишь два взгляда, с каким выражением смотрят на нее мужчины. Один – изучающий и отвергающий, другой – изучающий и алчный. Безразличие или угроза, всю жизнь только так и никак иначе.

Безразличных взглядов было много, мужчины пробегались по ней глазами опытных и скорых на решение мясников, останавливались на груди, ляжках, потом возвращались к лицу и, соскользнув, переключали внимание на ближайшую витрину или другую женщину; приговор – негодная, почти негодная, ни на что не годная; и она испытывала одновременно обиду и облегчение. А уж сколько раз те, кому она пришлась не по вкусу, тем не менее хватали ее, лапали жадными, грубыми руками, щипали, мяли, тискали, и тогда ее сердце билось как бешеное и панический ужас охватывал с головы до ног. Иногда ей везло, мужчины делали это мимоходом, быстро отставали от нее и, тут же забыв, шли дальше, а ее два дня трясло до изнеможения, и эта дрожь там, в глубине, не покидала ее никогда. Однажды она увидела, как женщина обернулась к одному из тех, которые лезут без спроса, и прорычала: «ТЫ ЗА КОГО МЕНЯ ДЕРЖИШЬ, ТЕБЕ ТУТ НЕ ОБЛОМИТСЯ, ПРОСИ ПРОЩЕНИЯ! ПРОСИ ПРОЩЕНИЯ, ИЛИ Я ИДУ В ПОЛИЦИЮ!» И Сандрина с разинутым ртом смотрела и думала, неужели так можно, неужели женщины могут отвечать, возмущаться? Давать отпор орде варваров, защищать свое тело, противиться? Смотрела на маленькую, точно мышка, женщину и боялась, что мужчина ее ударит. Так и было бы, но женщина не умолкала и не отступала, на ее крики из дверей магазинов высыпали люди, приблизились две старушки с пуделями, собаки залаяли, подошли другие мужчины, и этот тип сказал: «Ладно, ладно, хорош орать» – и ушел. Женщину трясло, но ее голова была высоко поднята, наверное, она была из тех, о которых говорил отец Сандрины, – из стерв, которым на всех плевать, и она, Сандрина, хотела бы усвоить урок.

Отец первый, когда она была еще маленькой, научил ее, что оставаться бесчувственной и не брать в голову – это счастье. Глядя на нее, он только и делал, что искал, к чему придраться, и всегда находил. И рожа у нее глупая, и во рту каша. Ты и так уже толстая. Плохие отметки по французскому. Да чего им надо, какой от этого прок? А физкультура, ты ни хера в ней не тянешь и хочешь, чтоб тебя хвалили? Он мог изрыгать это часами, даже когда занимался своими делами. Намазывал масло на хлеб, листал телепрограмму и при этом продолжал молоть языком и оскорблять ее. Она слушала и все больше замыкалась, училась не отвечать и не возмущаться, сосредоточиваться на том, что еще не вдребезги разбито, старалась сохранить в себе хоть что-то, но это что-то уменьшалось из года в год, пока от него почти ничего не осталось.

Ей удалось уехать от родителей. Не нарочно – просто повезло: работа, которую она нашла после окончания обучения, была слишком далеко, чтобы ездить туда и обратно, и она боялась, что отец заставит ее отказаться от этой работы. Но в конце концов взгляд его снова стал пустым и равнодушным, и он сказал: «Давай вали, вали отсюда, думаешь, станем тебя удерживать? Растишь их, а они берут и уходят, вот так, етить, берут и уходят». И добавил, что она делается «красоткой», что на его языке означало стать шлюхой. Мать, как всегда, лишь молча кивала, а Сандрина не отвечала, она хотела только уехать – и уехала, и сделала это очень вовремя, потому что с той поры, как ее грудь начала наконец расти – слишком поздно, слишком маленькая и слишком плоская, глаза отца стали голодными, он все меньше и меньше это скрывал, и Сандрина боялась вещей таких страшных, что не находила для них слов.

Изголодавшиеся мужчины часто попадались ей на пути, в их глазах было что-то хищное, жестокое – то была сама похоть. Они приставали к ней на улице, в автобусе, громко причмокивали, а то и доставали свой налитый насилием член. Она застывала, теряя рассудок, или ценой нечеловеческих усилий убегала прочь, и отяжелевшие от стыда ноги при каждом шаге прикипали к земле.

В супермаркете она повстречала кассира, казалось, славного парня, который подолгу с ней болтал, мягко, дружелюбно, забавно. В конце концов она согласилась пойти с ним в кино, и прямо в машине он нагнул ее, как мешок, и сделал ровно то, о чем говорил отец; это было больно и грязно, а он быстро застегнулся и оставил ее одну на парковке у кинотеатра. На другой день она подошла к его кассе, хотела спросить, понять. Он сделал вид, что не замечает ее, зато два продавца шушукались, когда она проходила мимо. Она выбрала другой супермаркет.

Она дала шанс еще двум типам; готова была не жаловаться на то, что делают с ее телом, если в обмен ее будут любить, ведь в романтических фильмах, которые она тогда еще смотрела, все было красиво и простыни казались свежими. Один порвал с ней, признавшись, что не может познакомить ее с друзьями, потому как она не в его вкусе – ему нравятся красотки; другой позвал ее к себе поздно вечером, пьяный, и покончил с ней еще быстрее – две омерзительные ночи и больше ничего.

Но в это воскресенье мужчина в голубой рубашке поднял глаза и посмотрел на нее. Без похоти и отвращения, с каким-то новым для нее выражением. И улыбнулся.

Позже она призналась, что влюбилась в него уже тогда, в то самое мгновение, когда увидела его улыбку, а может быть, нет, это неправда, это случилось, когда он на нее посмотрел; может быть, и это неправда, может быть, она любила его всегда – его, первого мужчину, который посмотрел на нее по-доброму, а потом улыбнулся. Она была с ним откровенна и ничего не утаивала, а он все равно боялся, что она что-то скрывает, ему необходимо было верить, что она с ним чистосердечна, и его желание знать о ней все переполняло ее счастьем. Она и в самом деле не лгала, а просто сама не знала, когда влюбилась в него, да, впрочем, это не так уж и важно.

– Должно быть, это ужасно для вас, мне очень жаль, – сказала она снова, осмелев от его улыбки.

А он сказал «спасибо» опустошенным голосом. У него ввалились глаза. Казалось, он на грани.

Малыш помалкивал, застыв на крыльце. Он расчесывал себе локоть, Сандрина заметила следы ногтей на его нежной коже. Смотрел себе под ноги, не хватал отца за руку. И не издал ни звука, когда Сандрина обратилась к нему:

– Как тебя зовут?

Отец сказал:

– Дама к тебе обращается.

Ребенок встрепенулся, опомнился и прошептал:

– Матиас.

– Здравствуй, Матиас, – сказала Сандрина, но ответа не услышала.

– Вы пришли на марш? – спросил мужчина.

Он спускался с крыльца, держа сына за запястье, и подходил к ней все ближе и ближе.

Внезапно она запаниковала: что сказать? Нет, не совсем, я пришла, потому что видела по телику, как вы плачете, и вы перевернули мне душу? Опять она ощутила, как ее пальцы нервно сжимаются, лоб багровеет, язык не слушается. Она ненавидела такие мгновения, всякий раз она боялась, что отец вот-вот рявкнет: «Да говори же, мать твою, тебе что, так трудно ответить? Ну же! Ну! Какая дура, нет, это невозможно, и закрой рот, если нечего сказать!»

Она была не в силах хоть что-то выдать из себя. Нет и нет, а мужчина смотрел на нее и видел, как румянец переползает на щеки с шеи и лба, а она тем временем мямлит: «Я... это...»

потому...» И он спас ее, махнув рукой так, как будто что-то стирает с доски; он спас ее одним «я понимаю».

Впервые ей понравилось, что говорят за нее, понравилось, что прервали ее несвязную речь. Он добрый, и она перевела дух с облегчением, которое подхватило ее, как волна. Он добрый, она была права, он хороший человек.

Они пошли вместе, втроем, в лес, последнее звено в цепочке людей, а впереди, на дорожке и между деревьями, петляли те, кто пришел с благими намерениями.

После полудня погода разгулялась, белесые лучи солнца ложились на опавшие листья, и они сверкали, точно золотые монеты. Впереди молча шел малыш, за ним Сандрина, потом отец малыша. Он начал задавать вопросы о ней, о ее работе, она сказала: «О, это совсем не интересно!», – но он настаивал, хотел подробностей, спрашивал, как зовут ее коллег и что они за люди, нравится ли ей работа. Сандрина поняла, что он, вероятно, отчаялся услышать что-то, помимо пропажи жены, и потому интересовался всем: мелкими фактами, еле заметными черточками. И она с ошеломительной легкостью доверилась ему, выложила все: как организована работа в их адвокатской конторе, как зовут других секретарш, как выглядит комната отдыха и о чем там болтают в обеденный перерыв, как она отмалчивается, какие у нее тапперверы и какие салаты и как она любит готовить. Часто она обрывала себя, стыдясь этой неуместной во время поисков пропавшей женщины болтовни, но он не отставал и снова заставлял ее говорить, пока они продвигались по шелестевшему лесу вслед за теми, кто шел впереди.

Дорожка делала петлю, и они вынырнули из леса на другом краю поселка, где их встретила странная пара. Мужчина и женщина вглядывались в их лица молча, может быть, даже враждебно. Она – худая, суховатая; ляжки, не сливающиеся в одно целое, прямая спина, зашнурованные ботинки (скорее мужские, чем женские, отметила про себя Сандрина), кожаная куртка и шерстяной свитер; одета небрежно, но очень удобно. Он – красивый, с подернутыми сединой висками, в высоких кроссовках, пропитанных лесной влагой. Сандрине могло бы, как обычно, прийти в голову что-нибудь завистливое, низкое, вроде «какого черта с таким сложением одеваться, как мужик», но нет, она ничего такого не подумала, и даже настойчивые взгляды, которые два незнакомца бросали на их неожиданное трио, ее не проняли; ей было не до них, она была безумно довольна и всеми силами старалась скрыть свою радость – чувство, оскорбительное в толпе, охваченной тревогой.

Он обхватил малыша за шею сзади, под затылком, прижал большую уверенную ладонь к хрупким плечикам и извинился перед Сандриной, сказав, что должен присоединиться к родителям жены. Она развернулась и пошла к своей машине. Вне себя от счастья и стыда.

Дома Сандрина сняла куртку и обувь, которые надевала на марш, и достала все самое невесомое. Обычно ее домашняя одежда не отличалась приятностью: она облачалась в спортивные брюки, утягивающие живот, и бюстгалтеры с толстыми вкладышами; никакого разнообразия, ничего случайного: слишком пугающей была возможность увидеть себя в зеркале.

Но в это воскресенье она извлекла на свет щадящие легкие вещички, те, что позволяла себе только во время болезни. Длинные бесформенные штаны, в которых ее плоская и слишком широкая задница выглядела необъятной; безразмерную футболку, окончательно лишившую ее груди, и огромный жилет из мягкой шерсти, доставшийся от любимой бабушки, добрейшей женщины, слаще сахара и меда; воспоминание о ней поддерживало Сандрину, когда слабый голос, изредка звучащий в ее ушах, нашептывал: против генов не погрешь, приступы злобы и ожесточения – не случайность и не ошибка, это глубоко запрятанная натура, и пока она, эта натура, лишь изредка дает о себе знать, но постепенно, со временем сумеет взять верх, как бы ты ни силилась остановить свое перерождение.

Сандрина устроилась на диване, провалившись в жилет, словно в теплые дружеские объятия, и включила запретные фильмы: от этих историй у нее все внутри переворачивалось, и обычно она не разрешала себе смотреть слезливые романтические комедии с размолвками и

поцелуями на набережной у вокзала; в животе урчало, но есть не хотелось, и под конец, так и не поев, она улеглась и, сунув руки в горячую промежность, принялась воображать ласкающие ее ладони и долгие объятия, в которых она сможет почувствовать себя царицей.

Утром прозвенел будильник, и блаженное состояние продлилось еще немного, совсем немного, пока она не увидела себя в зеркале. И тут же поникла, съежилась. Она – это она, и она по-прежнему уродина, дура, тупица. Всегда она – это только она, а он улыбнулся и говорил с ней просто из вежливости.

Сандриня запихнула воспоминание подальше, как убирают глубоко в шкаф старые вещи, чтоб не мозолили глаза, и запирают на ключ. Она себе что-то навоображала, напридумывала, это зараза и болезнь, следствие и причина, все из-за воли, которую она дала фантазиям, и эти фантазии распалили ее; в зеркале она увидела себя размечтавшейся жалкой старой девой, которая сама себя провела, решив: раз с ней заговорили с улыбкой – вперед, понеслось, я выйду за него, усыновлю мальчика и что-то там еще. Толстая тупица, бедная тупица, бедная уродина, жалкая тупица; тумба с ушами, которая способна только на то, чтобы тупо висеть на сраных фильмах, которая мастурбирует с мыслями о незнакомце только потому, что он плакал по телику и случайно улыбнулся ей – дуре, дуре, пустому месту, ничтожеству.

Она заперла все на замок, но потом днями, неделями, когда ей снова виделось его лицо – лицо человека, вышедшего из коттеджа с ребенком, она застывала, точно пригвожденная. Воспоминание охватывало ее, упорно стремясь вылезти из шкафа, в который она его заперла, налетало, когда она сидела в туалете, стояла перед холодильником в комнате отдыха на работе или у себя на кухне резала овощи. И она скулила от стыда и бессилия.

Через неделю в расследовании об исчезновении той женщины случился прорыв; когда Сандриня пришла на работу, все секретарши сгрудились перед компьютером и смотрели видео, на котором свора собак рыскала по полю вместе с полицейскими, а само поле было огорожено желтыми пластиковыми лентами.

Посреди свекольных гряд фермер нашел почти полностью сгнившую женскую одежду пропитанную дизельным топливом и дождем. Кстати, дожди не прекращались с того самого дня Белого марша, как будто солнечное воскресенье, когда состоялся марш, было фейком, сфабрикованным воспоминанием; как будто сами тучи плевали ей в лицо и говорили, что она все выдумала. Там, на поле, в холодной земле, нашли вещи, которые были на женщине в день исчезновения, от обуви до лифчика, и секретарши, смотревшие видео, представляли себя голыми, в ночи, в холодном и грязном поле со свеклой; и никто уже не шутил. Одна лишь Беатриса сказала: «Черт, вот больной».

В этот раз Сандриня сосредоточилась на родителях пропавшей, которых она видела на марше. Она старалась не допускать мыслей об отце и сыне, держать их образы на расстоянии. И сказала себе: «Бедные...»

Вещи нашли посреди поля, а по краю его тянулся овраг, на который долго лаяли собаки, но там никого и ничего не обнаружили, и репортер, взяв соответствующий тон, сказал, что, возможно, кто-то раздел женщину, убил, хотел сжечь ее одежду, бросил труп женщины... все про себя взмолились, чтобы на этом считалка закончилась, чтобы никто, как мог бы предположить репортер, тело женщины никуда не увез и не сделал с ним ничего, ничего ужасающего. Все видели достаточно сериалов и фильмов и знали, что бывают монстры, которые много чего делают с трупами женщин.

Целыми днями говорили только об этом. Возвращаясь домой, тщательно запирали двери и повторяли: «К счастью, это не обо мне, к счастью, это о монстре, к счастью, это не обо мне и монстре».

Потом все пошло на спад.

Жизнь не стояла на месте: крупная авария на дороге, футбол и другие происшествия: все это в текущих новостях. Сандриня тоже смотрела новости, пусть даже ей приходилось делать

над собой усилие. Порой вечерами ее руки забывали о том, что голова не должна думать о мужчине, об улыбке мужчины, о печали мужчины, о теплоте, которая ждет мужчину в ее большом животе, теплоте, которая могла бы все исправить.

Потом пришла зима, а за ней весна.

Наступил тот первый мягкий день, что приходит каждый год и пахнет пробуждением. День, который с неохотой уступает вечернему холоду, а полуденные часы напоминают всем, что солнце никуда не делось, что существует мир без промозглой сырости, без резиновых сапог и шарфов, мир, в котором можно понежиться.

Для нее это всегда был один из худших дней в году. Если он выпадал на будни, контора приходила в движение, все ассистентки хотели устроить первый аперитив на воздухе, посидеть на террасе кафе; Сандрину, правда, не приглашали из-за ее чрезмерной застенчивости, но, слегка смущаясь, крутились вокруг нее. Она выходила из положения, говорила, что у нее важная встреча; и тогда остальные могли сделать вид, что зовут ее с собой, сказать: «Очень жаль, в следующий раз!», договориться между собой уже без помех и дружно выйти на улицу. Для надежности Сандрина выжидала, не желая столкнуться с коллегами внизу, где они курят и решают, куда пойти. И когда наконец она позволяла себе выйти, на улице витал только запах возрождения и потеплевшего асфальта. Редко она чувствовала себя такой одинокой, как в этот первый весенний день. Каждый год давала себе слово, что будет к нему готова, что отныне все станет по-другому, что она научится быть общительной, будет стоять того, чтобы ее приглашали, что она кого-то встретит, пойдет и найдет кого-то своего, и ей не надо будет больше врать, и теплый воздух зазвенит обещанием. Но каждый год у нее опять сжималось сердце, каждый год она одна возвращалась домой, в то время как все покидали свои квартиры, и она не знала, что с ней не так, не знала, почему никто не хочет сблизиться с ней, и только ее мозг нащепывал: «Нет, ты знаешь, прекрасно знаешь, толстая тупица, жирная уродина».

В тот вечер Сандрина подъехала к дому и, не выходя из машины, задержала дыхание. Она выдохнула только в подъезде. Никогда еще ей не было так тяжело, как в этом году. Она *не хотела* почуять запах весны, потому что в ее сердце была нескончаемая зима. Войдя в комнату, сразу задержала занавески, отгородилась от внешнего мира. В квартире было холоднее, чем снаружи, и это ей подходило как нельзя лучше, она хотела задержаться в мертвом сезоне; она все законопатилась и включила свет, а в это самое время все окна распахнуты, и на улице слышно, как купают детей, и другие звуки, сопутствующие семейной жизни.

Сандрина стиснула зубы, чтобы не закричать: «Не хочу, не хочу, идите все на хуй, на хуй с вашими семьями, на хуй с вашими детьми, на хуй с вашим сраным счастьем!»

Она долго мылась, дольше, чем обычно, потому что ей надо было погрузиться в ванну и поплакать.

Потом, повернувшись спиной к зеркалу, насухо вытерлась и, как колдунья, которая готовится к обряду, достала с полки тюбики, баночки, флаконы. Надо позаботиться о теле, которое придавливает ее к земле, приласкать своего личного палача. Точно так же приговоренному к смерти с отвращением приносят еду, говоря про себя: «А на кой черт?» Бывало, она, нащупав под тонкой кожей бугорок и волосок, нарушивший гладкость, начинала со злостью ковырять его ногтями, потом останавливалась, напоминала себе, что будет только хуже, но болезненные ощущения единственные приносили успокоение в самые отчаянные минуты. Годами она расковыривала поры, кромсала волосяные фолликулы, вырывала сбившиеся с курса волоски и щипала и ошипывала себя, пока кожа не покраснеет и не распухнет, а когда иступление проходило, смотрела на причиненный себе ущерб с чувством вины и облегчения; зато теперь снаружи она почти такая же, как внутри: истерзанная, омерзительная.

Ей удалось увеличить промежутки между приступами; уход от отца, работа, машина, тщательно продуманные вечера – все это помогало противиться потребности до крови наносить самой себе увечья, но в этот вечер шлюзы открылись, и она с удобством расположилась на

полу ванной комнаты, вооружилась острым, как лезвие бритвы, пинцетом, чтобы выклевать им из своей кожи все, что полагалось удалить: черные точки, вросшие волоски, сальные пробки и прочее. Она пристально осмотрела каждый миллиметр, требовавший проверки, нашла все возмутительное, что пряталось на ее теле, все, что делало ее отталкивающей, недостойной любви, и каждый болезненный укол помогал утишить разбушевавшееся море. Это длилось несколько часов, но она обрела покой. И только тогда поднялась, достала дезинфицирующий раствор, ранозаживляющий бальзам; удар и контрудар, пытка и примирение. Она безмолвно просила ее простить: «Ну все, все, тише, все кончено, что я наделала, прости, мне очень жаль». В эти минуты, когда умопомрачение и горячка оставили ее, она толком не понимала, перед кем или чем извиняется; тело, которое не давало ей жить, отзывалось болью при каждом прикосновении, и она, как могла, старательно покрыла его бальзамом, а потом залезла с ногами на диван, свернулась клубком, взяла телефон и, чтобы дать потоку окончательно утащить себя на дно, окунулась в чужую жизнь, жизнь тех, кто обеими ногами стоит на земле и радостно пишет: *Суперский аперитив с коллегами; Я самый счастливый человек на свете, она сказала ДА; Ура! мой второй сходил на горшок!*

Погружалась все глубже и глубже в чужие фото, фото прекрасных деньков и разношерстных компаний, и ей чертовски захотелось покончить с собой, но тут пришло СМС-сообщение...

Это был он, мужчина, который умеет плакать, и это был знак свыше, ровно то, что нужно, чтобы не умереть.

Он писал, что искал ее, искал ее город, место, где она работает, и рад, что сумел найти. Что хотел поблагодарить за тот день – за то, что она пришла, и за ее милую улыбку.

И Сандрина снова расплакалась – от радости и облегчения, ведь, в конце концов, она осталась жива.

Они начали переписываться. Сандрина надеялась, что завершение расследования принесло ему покой, что он может предаться скорби, и как себя чувствует малыш?

Да, его очень утешило, что дело наконец-то завершилось, ему бывает невыносимо тяжело, но надо оставить прошлое позади и пытаться снова стать на ноги, а малыш чувствует себя хорошо.

Они начали совместную жизнь прежде, чем встретились; его сообщения поджидали Сандрину при пробуждении, после коротких ночей, проведенных за перепиской. За каждым словом ей слышался голос мужчины, который умеет плакать, она чувствовала, как бьется его пульс, и ей даже мерещился запах одеколона, тот самый, что витал вокруг него в лесу, и теперь он витал везде, где бы она ни находилась, – вокруг дивана, над кроватью, на работе; она уже жила им одним, этим мужчиной, когда они наконец увиделись.

Пришлось выжидать, потому что случившееся было трудно объяснить и не просто открыть посторонним. Им самим уже нечего было обсуждать, все было ясно: они любили друг друга, это было несомненно, внезапно, нерушимо, – и Сандрина, ни о чем не просившая, дождалась неведомых ей слов: именно так говорят души, потерявшие терпение, чудом разыскавшие одна другую.

Он несколько раз приходил к ней домой, под предлогом важных командировок оставляя малыша с родителями пропавшей жены; те топили свое горе в черных глазах мальчика, упорно отказывавшегося говорить; Сандрина беспокоилась за него еще до того, как впервые обняла.

Она принимала его, долгожданного мужчину, в своей скромной квартирке, и все стало настоящим, внезапно осязаемым, так, как она воображала, и даже больше. Он прикасался к ней, поглощал ее, находил красивой, говорил «Ты моя»; это был фильм для нее одной, и утром он все еще был здесь, и его руки защищали Сандрину, как доспехи.

Они снова занялись любовью, стоя, у раковины в ванной комнате, она дрожала от страха и слегка противилась, не выпуская из руки зубную щетку, говорила, что она толстая, что не

хочет, но он взял ее в точности как в кино, и она сдалась, слегка отрешенно. Так это и есть то самое, то, о чем она томилась, то, что он сейчас делает с ней, так вот она – жизнь любящих друг друга людей.

Потом он всем телом прижался к Сандрине. С самого начала это мгновение стало тем, что она полюбила больше всего; миг расставания, когда он, дрожа, прижимался к ней, часто дыша и хрипло повторяя: «Ты моя». Она вспоминала, как в первый раз увидела его, мужчину, который плачет, и крепко-крепко обнимала его; он нуждался в ней, она наконец-то жила для кого-то, и все ее существо наполнялось теплом.

Он пригласил ее к себе, познакомил с сыном, который вежливо сказал: «Здравствуйте». У Матиаса были необыкновенно черные глаза, два невозмутимых озера; во время своего первого визита в их дом в гостиной, где Сандрине было не по себе, она заметила на каминной полке фотографию в желтой рамке – та самая пропавшая женщина, с такими же, как у мальчика, ничего не говорящими черными глазами.

В общем, все случилось очень быстро. Слишком быстро для родителей первой жены, которые немного стеснялись ее, и, говоря по правде, это было нормально. Для них главным был ребенок, и Сандрина любила мальчика, не делая усилий, не притворяясь, – она любила Матиаса и терпеливо ждала, когда он полюбит ее в ответ. И потакала ему, как могла.

Матиас был пугливым зверьком. Вздрагивал всем телом от громких голосов и неожиданного шума. Часто он уходил в себя, съеживался и оставался неподвижным, как маленький недоверчивый мышонок. Сандрина знала, его отец боится, что мальчик навсегда останется таким вот – мокрой курицей, боязливым, как девчонка; да, его мать пропала, но в конце-то концов... Она, Сандрина, своего мнения на этот счет не имела, она малышу не мать, и это позволяло ей просто любить его.

Спустя несколько месяцев встреч Сандрина провела у них выходные, потом он попросил ее остаться. Надолго? Навсегда; он хотел, чтобы она осталась навсегда, и Сандрина, примерная ученица, вечная работяга, не поехала вечером в воскресенье домой, а рано утром в понедельник позвонила в контору и сильным голосом сказала, что заболела. Нет, ничего серьезного, просто нездоровится, один день, и все пройдет. Потом они отвезли Матиаса; втроем в одной машине они ехали в школу, и это было так похоже на семью, на семью, которую она взяла займы и не захотела возвращать. Не отдала в оговоренный срок, только и всего.

В понедельник по дороге домой она почувствовала себя еще более одинокой и несчастной, чем накануне. И, не откладывая, заказала картонные коробки.

С той поры каждый день она просыпается рядом с мужчиной, который умеет плакать, на месте первой жены.

В первое утро своей новой жизни она открыла глаза и огляделась: полумрак, занавески и он, еще дремлющий, у нее под боком. Ей было жарко, как и всякий раз, когда она делила с ним постель; от него исходило тепло, и она сдвинула одеяло в сторону, чтобы дать остыть вспотевшему телу. Она говорила себе, что привыкнет, но так и не привыкла. И по-прежнему пробуждалась от жары и духоты, даже зимой; наверное, она не создана для счастья, или ее телу, которое так долго было в одиночестве, нужно время, чтобы приспособиться к этой обволакивающей животной близости – он всегда где-то рядом.

Матиас ничего не сказал. Сандрина предположила, что отец поговорил с мальчиком, выбрал время, чтобы объявить ему или спросить. Она не знает. Когда она переехала к ним, Матиас ни слова не произнес. Был спокоен и невозмутим. И все же она чувствовала – внутри у него есть тайная, сдерживаемая, лихорадочная жизнь. Он насторожен, и она выжидает. С самого начала Сандрина обещала себе быть терпеливой; она, вторая жена, долго ждала эту чудесную семью и дождалась: отец, сын, место в постели – пусть ей и кажется, что она все это украла, узурпировала, неприглядная кукушка в теле толстухи. Не сможет она рассказывать историй, приключившихся с Матиасом в детстве, и никогда не произведет на свет такого

же хмурого худенького мальчика; Матиас был из породы воронов, матовая кожа и бездонные глаза, которые наблюдают украдкой, исподтишка, только изредка Сандрине удастся перехватить устремленный на нее взгляд.

Несколько дней ее раскрытые сумки и чемодан стояли посреди спальни, потом он опустошил стенной шкаф и комод и куда-то унес вещи первой жены. Время пришло. Это надо было сделать. Он хотел, чтобы она развесила и разложила свою одежду. Родители первой жены ничего не сказали, но Сандрина почувствовала, как они молча ее осудили в то первое воскресенье, когда она уже обосновалась в доме и ждала их на кухне к обеду. Отец Матиаса открыл дверь. Тот день, благодаря присутствию ребенка, прошел мирно. Матиас молча сидел за столом; Сандрина очень его любила, эта любовь объединяла ее, вторую жену, с бабушкой и дедушкой малыша и в порядке исключения давала ей право находиться в этом доме. Она прекрасно знала, что слишком скорыми и неделикатными были и ее счастье, рожденное их горем, и ее жизнь, которую она боязливо начала вести, не смея ни переставить по-своему мебель, ни убрать желтую рамку, с которой следила за ней пропавшая жена. Не смея даже потребовать больше пространства.

Переехала она с одним чемоданом и несколькими сумками, багажник был полупустым. Устроилась в доме первой жены и с нетерпением ждала, когда же почувствует, что это ее дом. Она допускала ошибки. К примеру, захотела освободить в книжном шкафу место для своих книг. Он это плохо воспринял – и это нормально, тут все понятно. Полки на первом этаже были отведены под его собственные книги, для работы, и эти книги расставлены в определенном порядке.

Хотела сделать ему сюрприз, а он вышел из себя: «Ты что, не понимаешь, где находишься?» Она думала, что дома или почти дома, и ей больно было это слышать, но после он раскаялся. Несколько дней просил прощения – он просто устал, и если ей так хочется, конечно, он найдет для нее место. Наверху, где первая жена занималась шитьем и гладкой, в третьей комнате. Там отличные полки, делай что угодно, а впрочем, может, пора уже и там разобраться, может, ты захочешь что-то оставить себе?

Он задал вопрос ей, он спросил ее, Сандрину, что она намерена сделать с вещами его первой жены, и она поняла, что гроза прошла, что она не обманулась – он хороший человек.

Себе она оставила швейную машинку, большую круглую корзину с отрезами и лоскутами, изящную коробку из-под сигар с нитками и иглками. На полках стояли книги и безделушки, книги она не тронула, а безделушки собрала в коробку. Детективы, романы со счастливым концом и классика, беллетристика, «Своя комната»⁵, «Граф Монте-Кристо», – подумала, что сама их когда-нибудь почитает. На освободившихся полках красного цвета, на месте безделушек, она расставила свои собственные книги. Не все, часть положила обратно в коробку и убрала в гараж, вот так, очень хорошо.

⁵ Роман Вирджинии Вульф (1929).

3

Обнаружив первую жену на экране и в глазах сидящего перед телевизором мужчины, Сандрина окидывает гостиную взглядом. Под низким стеклянным столиком стоит обувная коробка, в которую Матиас складывает игрушки, чтобы не валялись под ногами. И Сандрине кажется, что, этот человек, этот мужчина, теперь избавится от нее и она навсегда утратит его сына. У нее внутри все сжимается, она не знает, как все это удержать. Она не смеет спросить, что будет, что он думает, что чувствует.

Она ждет – ждет, когда он заговорит.

Проходят долгие минуты, он не издает ни звука. Сказал: «Это она», и еще раз: «Это она», и потом: «Они ее нашли». И больше ничего. Обычно он нервный, из породы тех, кто не сидит на месте, у него повадки сторожевого пса, такие легко возбуждаются и по-настоящему никогда не расслабляются. Где ты была? Что делала, почему приехала позже обычного? Он же беспокоится. Почему игрушки валяются, надо делать уроки, ужин, он проголодался; и Сандрина успокаивала его, точно зная, что и как надо делать, доказывая тем самым свою любовь: собирала игрушки, разогревала запеканку, объясняла задержку пробками на дороге; все это она говорила и делала, потому что любит его, мужчину, который плачет, и он тоже ее любит, его беспокойство – это непрерывное объяснение в любви. За тех, кто не дорог, не тревожатся.

Но сейчас он молчит, не двигается, как будто заснул, и это тянется долго. Достаточно долго, чтобы Сандрина присела на ручку кресла; от духоты и немого ожидания у нее затекли ноги. Она чувствует, что надо молчать, знает, что бывают такие, как эта, минуты, когда его лучше не трогать, когда он грубо огрызается в ответ, и она научилась эти минуты различать; нет ничего проще, чем их предвидеть, чтобы получать от него только хорошее, и потому Сандрина молчит.

Время тянется и тянется.

Наконец с дрожью в голосе она спрашивает, не хочет ли он лечь спать, и он приходит в себя. Оглядывается, как сова, потерявшая память и дар речи, и обнаруживает, что она сидит рядом. Сандрина хочет встать, но он хватает ее за руку, притягивает к себе, наклоняется и зарывается лицом в ее живот; она гладит его по голове, терпеливо и прерывисто нашептывая колыбельную: «Все будет хорошо, все уладится», – а сама знает, что это ложь, что все рушится; у нее осталось только это – лицо, спрятавшееся в искусственном атласе ее короткой ночной сорочки, и ложь, которую она повторяет для них обоих, обещая, что все будет хорошо.

Так проходит несколько томительных минут, потом он всхлипывает: «Что же будет?» В его голосе слышатся слезы, рядом с Сандриной мужчина, который плачет, и он разрывает ей сердце.

Она сильнее прижимает его к себе, а горло перехватывает от облегчения: первая жена его тревожит, убивает, он не хочет, чтобы она вернулась. Сандрина цепляется за него, гладит, тискает, ее пальцы не отрываются от его горячей головы; это ее муж, только ее, это ее дом, ее; это ее семья, ее; она не даст все это отнять и сломать, она их защитит, она защитит себя, это все – ее, ее, ее.

Она уже почти твердо стоит на ногах, внезапно осмелев от собственных заверений в том, что это *ее* муж, *ее* дом и *ее* семья. Вытаскивает пульт из прижатой к ее талии руки, выключает телевизор, и он не противится, ему это нравится, а ей нравится повторять себе, что это она его защищает.

Сандрина ведет его за собой, тащит на второй этаж, до самой спальни, укладывает, как ребенка, и заключает в объятия, укрывает и оберегает. Мужчина ничего не говорит, дыхание его выравнивается, он впадает в тревожное забытие, а она долго не сводит с него глаз; сама она не способна крепко уснуть.

Ночью он дважды бьется, охваченный кошмаром, и она укачивает его, ласкает, пока он снова не расслабляется, похрапывая, точно большой кот, которому гладят шерстку.

Когда светает, ее глаза по-прежнему открыты, она не выспалась, но готова на все, чтобы защитить свою семью, не дать этой женщине ее ограбить. Судя по тому, что известно, она, эта женщина, сама организовала свое исчезновение: взяла отпуск, уехала с другим в Италию, да-да, а потом, ну что потом, потом передумала, решила вернуться. Или это интрига, заговор с целью вернуть себе то, чего она больше не хотела? Нет, так не пойдет, что упало, то пропало, с места встал – место потерял.

4

Будильник звенит, и Сандрина вздрагивает – достаточно резко, чтобы понять: несмотря ни на что, она все же немного подремала; просыпаться не хочется, но надо вставать, скоро наступит день; час ранний, сумрачный, середина сентября, солнце еще не скоро взойдет.

Все лето он настаивал, чтобы она нашла себе другую работу, поближе, чтобы не надо было подниматься в такую рань и ехать так далеко, а если ей нужно время на поиски нового места, то это не проблема, он сможет позаботиться о ней – он так и сказал: «Я позабочусь о тебе столько, сколько нужно». Сандрина медлила, хотя в остальном она делает все, как он велит, потому что он человек здравомыслящий и незаурядный, но с работой... тут она, сама не зная почему, тянет и тянет. Может быть, дело в том, что, как только она задумывается об этом, сразу видит свою мать, запертую в четырех стенах, бледную, точно личинка короеда, белесую, как слепой червь; или нет, не в этом дело, с матерью ее нерешительность никак не связана, тут что-то иное, но что? Она знает одно: хочешь не хочешь, она должна рано вставать, да и что плохого в том, чтобы с рассветом ехать на работу? Она всегда поднимается первой, ходит босиком по дому, запускает кофемашину, достает хлопья и будит их, своих мужчин, нежными прикосновениями и ласковым шепотом. Это самые дорогие минуты, ибо в это время она сильнее всего ощущает себя в *своем* доме, в доме, где еще не всем ее вещам нашлось место и они лежат как попало. Рано утром ее ноги ходят знакомыми тропками. Из ванной на кухню, из кухни в спальню, из спальни к Матиасу, она отыскивает дорогу с закрытыми глазами, и ей это нравится; она обходит свою территорию, как зверь, тихо, осторожно, беззвучно. И она твердит, что ранние подъемы ее не беспокоят, что она еще поработает там, далеко, и он хмурится, отстает ненадолго, а спустя какое-то время все повторяется сначала. Она как будто бы наносит ему оскорбление своим отказом жить за его счет; летом тема работы витала над ними тучей, словно мухи перед грозой, и, чтобы положить препирательствам конец, Сандрина сказала: «Хорошо, я подумаю».

Однако этим утром, когда звенит будильник, она находит, что еще чересчур рано. И сегодня вторник. Это немислимо. Недопустимо. Происходит нечто столь серьезное, первая жена объявилась и вот-вот вернется, и тем не менее сегодня рабочий день. Время должно подстраиваться под наши внутренние бури, соблюдать ритм наших личных крушений, наших частных катастроф, но нет, вторник есть вторник. Это не лезет ни в какие ворота, это почти наглость, и тем не менее наступает вторник. Это первое, что приходит ей в голову, – злость на день, который, несмотря ни на что, занимается за окнами, неуместный, нахальный. И второе, о чем она подумала, когда вспомнила, что не давало ей спать до самого утра: может быть, все образуется. Просто надо, чтобы родители первой жены ничего не видели. Надо всего лишь им не говорить. Надо, чтобы жандармы не выяснили, кто эта неизвестная женщина. А что? – это вполне возможно, жандармы не всегда обнаруживают то, что хотят; они же искали первую жену и не нашли. Да, это возможно, и тогда все будет хорошо: первая жена застрянет в Париже, далеко от этого дома; она, эта женщина, по уши увязнет в своей лжи, ее не выпустят из больницы, и у Сандрины все будет, как прежде.

В лихорадочной полудреме, в бессонные часы, когда мозг без конца прокручивал одни и те же мысли, рассудок пошел по пути абсурда; если бы в это время Сандрина могла покинуть свое тело, как у нее это частенько получалось, и посмотреть на себя со стороны, то она увидела бы, как летит в пустоту, отчаянно перебирая ногами, маленькое перепуганное млекопитающее, белка в колесе; но в этот раз она оставалась внутри себя и не смогла прервать безумное кружение своих полушарий, унять жестокую бессонницу, оглушившую ее разум и убедившую в том, что довольно одного: чтобы никто не заговорил, никто ничего не нашел, никто ничего не сказал, и все будет хорошо. Когда все молчат, жизнь идет как надо.

Сандрина еще верит в это, покинув постель с тяжелой головой, одновременно ясной и очумелой, как бывает после бессонных ночей. Сидя на унитазе и рассеянно прислушиваясь к шуму, что издает струя мочи, выпущенная после мучительного позыва, который она сдерживала всю ночь из страха разбудить мужа, она по-прежнему пребывает в уверенности, что надо, чтобы все молчали, и все пройдет, все наладится. Вот мысль, за которую она цеплялась всю эту ночь: они ничего не видели, они не узнают, они не найдут. Матиас тоже останется в неведении, он спал как убитый. Надо, чтобы все молчали, и только, тогда все будет хорошо.

Опять-таки рассеянно она оторвала туалетную бумагу, подтерлась и начала молиться. Впрочем, она ни во что не верит, это не настоящая вера – скорее сложная и тщательно продуманная договорная система, которая поддерживала ее на плаву, на поверхности и в детстве, и в юности, и когда началась взрослая жизнь. Если не дышать, пока на светофоре не загорится зеленый, то папы не будет дома, когда я приду. Если я не буду наступать на стыки между плитками, я сдам историю и географию. Если я припаркуюсь до дождя, они возьмут меня на работу. Эту систему она захватила сюда вместе со своими кремами и вещами. Если еда будет готова к приходу мужа, если Матиас уберет все игрушки, если посуда успеет просохнуть, мы будем очень счастливы. Она не так четко это формулирует, но на самом деле она никогда по-настоящему не отказывалась от своего секретного и вычурного способа выживания. Испечь вкусный яблочный пирог, помочь Матиасу с уроками, доставить удовольствие мужчине, который плачет, встретить его с распахнутыми объятиями, угадать его желания, и мы будем очень счастливы. Если спуститься с лестницы, не наступив на ступеньку, которая скрипит, если у нас не закончился апельсиновый сок, то никто ничего не узнает и мы будем очень счастливы. Кофемашинка недавно забарахлила, надо несколько раз нажать, чтобы ее запустить. Если я запущу ее с первого раза, с одного раза, мы будем очень-очень счастливы.

Она все проделывает так, как надо, лестница не скрипит, сок есть. И потом она нажимает на кнопку кофемашинки и ждет.

Ничего. Не работает.

Звонит телефон.

Сандрина смотрит на кнопку, которая должна загореться красным, поджидает *trrrrrrr* ожившей кофемашинки, но нет, нет, ничего.

Телефон звонит еще раз, второй, третий.

Она все испортила. Дура поганая, толстуха, уродина, тупица, ты все просрала, сука, жирное ничтожество, толстая корова, это твоя вина, твоя, твоя, это твоя, сука, вина, это все, все из-за тебя.

Сандрина снимает трубку – так и есть, это она, мать первой жены. Голос у нее невыспавшийся, она не смеет поверить, она не позволяет себе поверить. Точно такой же, как у Сандрины, голос, но только по причинам настолько противоположным, что это почти смешно. Они обе провели бессонную ночь, говоря себе: нет, нет, нет, это невозможно, нет, это неправда, – но ночь закончилась, наступил день, и в мире, где еще существует Сандрина, отныне снова есть она, первая жена. И когда мать спрашивает, рыдая: «Вы видели?», Сандрине очень-очень, сильнее, чем когда-либо в жизни, хочется иметь право на то, чтобы сказать «нет». И чтобы на этом все закончилось, чтобы на этом все остановилось, чтобы это единственное слово все перечеркнуло и правда испарилась, чтобы телефон заткнулся, чтобы мать подавилась, чтобы ее сучья дочь сдохла, но Сандрина не может этого сказать, Сандрина так не умеет, Сандрина хорошая, она умеет только тонуть, чтобы другие выплывали, и она говорит «да» – и это конец.

Перво-наперво надо разбудить мужчину, который плачет, и одно это, одно только это идет вразрез со всем, что она знает, со всем, чего хочет. В то время, когда он спит, он целиком принадлежит ей одной. В начале их связи она подолгу смотрела на него спящего. Немой и беззащитный, он весь как на ладони: складка на лбу наконец-то разгладилась, кожа, глухо и ритмично трепещущая в тайных ложбинках, известных ей одной. Он теплый и расслабленный,

и она видит, как бьется у края челюсти, под ухом, пульс. Биение, за которым она подглядывала, каждый раз казалось ей грубым и сокровенным одновременно, точно это сердце, выложенное на стол, или выставленные напоказ разверстое тело и кровавая плоть; видеть его таким ей было намного дороже, чем видеть его обнаженным, чем видеть его член, потому что во сне он ничего не контролирует, ничего не решает – он как слабый ребенок.

Он еще лежит в постели, и Сандрина печалится, она грустит, как зимний пляж, как выжженная земля, как мраморная плита на могиле, блестящая после дождя. Потому что сейчас она разбудит его, потому что первая жена будет женой вернувшейся, а она, Сандрина, будет лишней женой, второй женой. Она кладет руку ему на плечо; ее пальцы белеют, когда она прижимает их к его теплому телу; он ворчит и поворачивается на другой бок. Ей приходится настаивать, надавливать сильнее, трясти, говоря: «Это ее мать. На телефоне. Ее мать».

Он взял трубку и закрылся в дальней комнате, там, где Сандрина разместила свои книги. Говорит со своей тещей, нет, со своей почти бывшей тещей, черт, как назвать мать замужней женщины, исчезнувшей, объявленной погибшей, вернувшейся? Нет у нее названия, осталось только имя: Анн-Мари, мать Каролины, жена Патриса, бывшая теща мужчины, который плачет.

Какой-то доброхот из адской армии благих намерений позвонил Анн-Мари, кто-то видел новости, кто-то сообщил; Сандрина поняла, что мир проскользнул у нее между пальцами, и ее охватила досада. Потом она вспомнила о Матиасе – о Матиасе, о его молчании, о его бездонных глазах – и постаралась сосредоточиться на нем; так и сказала себе: это ради Матиаса, это хорошо для Матиаса. Для Матиаса, неразговорчивого осиротевшего птенчика, пугливого мышонка. Матиас узнает, что его мать жива, и, несмотря на всю свою грусть, несмотря на ужас, который внушает ей возвращение этой женщины, Сандрина знает, что для Матиаса это хорошо, что надо ему сказать, что, поскольку она, полюбив малыша, смогла занять место рядом с ним, малыш ее и спасет. Подобно якорю, он закрепит ее нелепую шляпку, пляшущую на волнах в урагане; счастье Матиаса – это трос, способный удержать ее в порту, ее линия жизни.

Она с трудом отрывает ноги, приваренные к полу у двери в комнату. Так лучше, надо уходить, он не любит, когда она следит за ним. Отрывает ноги и плетется в ванную; прежде чем одеться и надушиться, умывается, как кошка: промежность, лицо, подмышки; затем одевается, очень тщательно.

Униформа, которую она все эти годы составляла из взаимозаменяемых вещей, придающих форму и скрывающих ее, сейчас ей дорога как никогда. Натягивает трусы с высокой талией, бюстгальтер, смахивающий на корсет, эластичные брюки, утягивающие живот, блузку бордового цвета и пиджак с широкими плечами. Все хотят, чтобы лето задержалось, а она одевается по-осеннему. Подкрашивает глаза, полные мольбы, разравнивает тональным кремом помятое лицо; макияж спасает ее, выстраивает нейтральный облик.

Она смотрит в зеркало и говорит самой себе: «Я готова», как говорит каждое утро, с той лишь разницей, что обычно это означает «теперь я могу показаться, это все, что я могу, это мой самый приличный вид из всех возможных, я готова к тому, чтобы никого не раздражать». Но сегодня это значит: «Я готова. Готова, готова, готова к тому, что все потеряю – уже потеряла». Однако она еще здесь: пробор прямой, плечи четко очерчены и расправлены в ожидании предстоящего крушения. Смотрит на свой мобильник – уже поздно, Матиас проспал дольше обычного. В дальней комнате все так же звучит голос, без пауз и восклицаний. Это как слушать ровный и приглушенный звук мотора, как смотреть издали на снос здания. Громкие чудовищные машины неумолимо разносят все и вся, уничтожают и крушат. Но когда ты смотришь издали, ты не в силах полностью осознать размеры этого уничтожения и не можешь полностью прочувствовать, до какой степени разрушения необратимы. И пока что до тебя не доходит, что все это окончательно и бесповоротно, без всякой надежды на восстановление того, что было.

Матиас, как всякий раз, когда она его будит, вздрагивает всем телом. Но и она, как обычно, как всегда, к этому готова. Вот они ее слова – ласковые, обволакивающие: «Привет, мой дорогой, ку-ку, все хорошо, это я, я пришла тебя разбудить, пора в школу; я приготовила тебе хлопья. Ты хорошо спал? Тебе снились сладкие сны?»

На этот простой вопрос он никогда не отвечает. Иногда он забывается, и в его движениях проскальзывает доверие, но он всегда спохватывается, неумолимо оберегая свои сны, позволяя ей выказывать привязанность, но отвергая близость, как будто с самого начала мальчик знает, что Сандрина здесь не для того, чтобы остаться.

Матиас собирается в школу, она стоит в коридоре, пока он моется с помощью банной перчатки, вытирается и натягивает футболку. В прошлые выходные он надел белую, коротковатую, и до Сандрины дошло, что он растет, растет очень быстро, и у него уже лезут недостающие резцы; теперь он сильно отличается от того маленького мальчика, которого она повстречала в день Белого марша, в день прогулки по лесу.

На кухне Матиас ест хлопья, поглядывая на нетронутую чашку, которая стоит на другом конце стола. Его взгляд с немим вопросом переходит с чашки на Сандрину, и та говорит, что отец у телефона, твоя бабуля звонит. Матиас опускает глаза, жует. Сандрина бросает взгляд на часы и наполняет свою чашку горячим кофе. Обычно она не притрагивается к еде, пока они все трое не соберутся на завтрак, но в это утро времени нет, и она не может больше ждать.

Когда она подносит чашку к губам, острый липкий запах консервированного тунца ударяет ей в ноздри, и ей приходится срочно, с глухим стуком, поставить чашку на стол. Ее тошнит, запах отвратительный. Она открывает холодильник, берет таппервер, в котором полагается хранить молотый кофе, открывает его и осторожно подносит к носу. Кофе пахнет тунцом. Этому нет объяснения, но от кофе несет тунцом, второсортным тунцом из консервной банки. Она спешно выбрасывает кофе в мусорный бак и бежит в кладовку, чтобы найти запасной пакет с кофейными зернами. Там его нет. Она выходит из кладовки, обыскивает шкафчики. Ничего. Сандрина в панике. Недосып, Матиас напротив, его бездонные черные глаза; он разевает рот, подносит ложку, и ей видится пасть вампира. Почва уходит из-под ног, это смешно – она это знает, но она совсем теряет голову, и на глаза наворачиваются слезы.

Сандрина нагибается, чтобы спрятать лицо от ребенка, и ищет кофе там, где его не может быть, на полках с тряпками и кастрюлями. Металлический лязг перекрывает звуки, которые издает тихо жующий ребенок.

Когда она отрывается от последнего шкафчика и оборачивается, Матиас не сводит с нее глаз, озабоченно сморщив лоб: что происходит, откуда угроза? Она пытается успокоить его, говорит: кофе закончился. Матиасу не смешно и не все равно, и она видит это. Матиас тоже обеспокоен. Она злится на себя, что не сумела с собой справиться. Она-то взрослая, и ребенок подумает, если она расстроилась, значит, есть из-за чего, хотя все это сущая ерунда.

Матиас смотрит на кофейник, полный черной жидкости, и спрашивает: «А этот не подойдет?» И Сандрина говорит: «Нет, он как-то странно пахнет, мне надо сварить другой, а не из чего». Мальчик соскальзывает со стула и подходит к столешнице, где стоит почти полный кофейник, его голова как раз на одном уровне с ним. Он недоумевает, говорит: «Разве кофе не такой, как всегда?» Сандрина вытирает глаза, она не хочет плакать перед ним; она не понимает, что с ней, и от этого отчаивается еще сильнее.

Хлопает дверь на втором этаже, они оба вздрагивают, как застигнутые на месте преступления, и смотрят друг на друга, словно два перепуганных ребенка из сказки, словно брат и сестра, попавшие в логово людоеда. Сандрина заставляет себя успокоиться, вчерашняя новость полностью выбила ее из колеи, но это не повод доводить ребенка до паники. Она через силу улыбается и говорит:

– Ничего страшного, не волнуйся, я просто устала, вот и все.

Но шаги на лестнице, скрип ступеньки действуют на нее так, как будто в ее разинутый рот, скулящий, *черт, да что с тобой такое*, горстями бросают землю.

Он идет через гостиную в кухню, и, к своему удивлению, Сандрина чувствует, как Матиас потихоньку берет ее за руку; маленькие худенькие пальчики сжимают ее пухлую ладонь. Мальчик такой милый... бедный, он непременно почувствует, что она... что происходит нечто необычное, и подумает, что она не в своем уме. И, может быть, будет прав.

Ее муж подходит к другому концу стола с телефонной трубкой в руке. Кладет ее и садится. Сандрина наливает ему кофе так, будто прыгает вниз головой с обрыва. Он говорит: – Их друзья смотрели телевизор, они им позвонили.

Голос у него тихий, он вертит беспроводную трубку неловкими движениями, его пальцы привыкли к плоской форме мобильного, да и кто теперь пользуется городским телефоном, ведь он не несет ничего, кроме рекламы и плохих новостей, по крайней мере, это остается неизменным в распадающейся на части действительности. Городской телефон звонит только из-за похорон, несчастных случаев, конца света. Сандрина сознает, что должна была бы что-то ощутить – что-то другое, – но в этот момент она испытывает лишь облегчение оттого, что кофе все нормально, и больше ничего, нет, правда ничего. Все перевернулось вверх тормашками, кофе ее волновать не должен, возвращение первой жены – это да, это должно ее сокрушить, но все наоборот, в голове у Сандрины только облегчение и еще жгучий вопрос: надо ли сообщить Матиасу? что сказать Матиасу? надо ли открыть Матиасу? надо ли объяснять Матиасу? И при этом – что бы там ни было, Матиас не ее ребенок, и не ей решать.

Он медленно пьет кофе. Один глоток, второй. По нему не скажешь, что он хочет поговорить с ребенком, не поймешь, что он задумал. Сандрина должна догадаться, и она говорит:

– Иди чистить зубки, Матиас. – Надеется, что попала в точку, ведь им, несмотря на все это, не стоит опаздывать.

Ее муж молча делает третий глоток; не стоило доводить себя до крайности с этим кофе, непонятно, что на нее нашло.

Сандрина не хочет на него давить, не хочет наседать, но время идет, и она спрашивает:

– Что ты собираешься делать?

И тут же видит, как он напрягся, как им завладело то же, от чего минувшей ночью ему снились кошмары. Сандрина слышит, как он скрипит зубами – он не знает, бедный, откуда ему знать, он еще не переварил эту новость.

Так и есть, в ответ на ее вопрос раздается шипение:

– Не знаю, черт, ничего не знаю!

И она частично утешается – хоть что-то прозвучало, зловещее молчание прервано; она понимает, каково ее положение, а оно таково, что он не знает, что делать, и для нее лучше, чтобы он не знал. Может быть, он хочет оставить ее при себе, вторую жену, заместительницу?

Он говорит:

– Мне надо на работу.

Сандрина отвозит Матиаса в школу и приезжает в офис в последнюю минуту; опаздывать – это на нее не похоже; она ловит на себе удивленные взгляды и надеется, что по ней ничего не заметно.

Она никому ничего не говорит, да и не скажет. Ее родители новостей не смотрят, она мало с ними общается и жалеет, что не уехала от них в недостижимую даль; друзья о ней не вспоминают, и она их тоже выкинула из головы. И потом она не хочет, чтобы знали о ее новом доме, о ее новой жизни, о ее муже. Поначалу она хранила это в секрете, для себя, в глубине сердца, подобно тому, как держат в тепличных условиях слабый черенок, потом сказать стало слишком сложно. Если бы она объявила на работе: «У меня кто-то есть», ее спросили бы: «Кто?» И она не смогла бы признаться, что это он, мужчина, который плачет, тот, кого они все видели по телику. Так что Сандрина никому не открывала своей тайны и от этого еще больше

отдалилась от коллег. Может быть, они подозревают, что она с кем-то живет, но всякий раз, когда ее подмывает открыться, она вспоминает о предвзятости своего мужа к ее коллегам и о том, как во время обеда Беатриса во всеуслышанье заявила: «Погодите, еще обнаружится, что это он ее убил, свою женушку».

И тем не менее Сандрина до сих пор сгорает от желания сделать то же, что и все: сфоткать три пары стоп – его, свою и маленького мальчика – и показать снимок всему свету, она была безмерно счастлива и полностью растворилась в своем блаженстве; ей нравилось все: недосыпания и ранние подъемы, пробки на обратной дороге, подгоревшая снизу лазанья, хлопоты по дому; однажды она, к своему удивлению, заметила, что ей в радость чистка унитаза, что она весело бормочет: «Ох уж эти мужчины!», проходясь жавелевой водой по запачканному фаянсу. Матиас предпочитает садиться, но большие мальчики так не делают, и он учится писать стоя; у него не всегда получается, и следы от детской мочи сливаются с пятнами, оставленными его отцом. Она говорит себе: «Мой муж, мои мужчины» – и душа ее наполняется теплом.

Прежде чем приступить к работе, она посылает ему сообщение, пишет, что доехала, и думает, что, может быть, в ответ он откроет ей то, что она хочет знать, объяснит, что происходит, что он решил. Но он молчит, и она сдаётся, сознавая, что ее настойчивость ни к чему хорошему не приведет; когда он дозреет, он сам все скажет.

В полдень ее мобильник звонит, и она торопливо подносит его к уху, но это не он, это мать первой жены, Анн-Мари.

Анн-Мари никогда не звонит ей напрямую без особой причины, просто чтобы поболтать; они говорят только по конкретным поводам, к примеру, когда зять не ответил на звонок, а нужно договориться о воскресном обеде, выяснить, едят ли они хлеб, нужен ли десерт; Сандрина знает, что ее мужу не нравится, когда они общаются, и она всегда говорит с Анн-Мари как можно короче, и потом эта женщина ей никто; бабушка Матиаса, да, это важно, но не настолько, чтобы ломать историю ее любви. Однако на этот раз Анн-Мари нарушает безопасную дистанцию, ей надо выговориться, и Сандрина не знает, как быть, что отвечать; терзаясь в сомнениях, она почти ничего не говорит, а только слушает.

Сначала Анн-Мари объясняет свой утренний звонок, просит прощения за то, что разбудила, а после срывается и погружается в поток сбивчивых фраз. В конце концов до Сандрины доходит, что ее спрашивают, знали ли они – знала ли она о Каролине, когда отвечала по телефону этим утром. В это мгновение Сандрина пошатнулась, как от удара, и на секунду отняла трубку от уха. Она не любит этот испорченный телефон, эти обходные маневры и альтернативные маршруты, нет, это не для нее. Она думает, что если Анн-Мари хочет о чем-то спросить своего зятя, то ей следует обратиться к нему, а не к ней. Вслух она этого, разумеется, не произносит – выкручивается как может, несколько раз повторяет, что она на работе, что плохо слышно, что ей некогда. При необходимости Сандрина умеет увильнуть и тянуть резину, это хороший способ уйти от проблем, она освоила его еще в детстве.

Спустя несколько тягостных минут Анн-Мари обреченно вздыхает, поняв, что ей не удастся вбить клин между зятем и преданной ему Сандриной, и она перестает ходить вокруг да около и напрямую сообщает, что они с мужем пытались навести справки в парижской больнице Питье-Сальпетриер, но сегодня утром было еще слишком рано и им не ответили, а потом им позвонили из полиции и сообщили, что личность установлена, и теперь они точно знают, это Каролина – это действительно Каролина.

Анн-Мари умолкает, то ли чтобы перевести дыхание, то ли чтобы дать Сандрине возможность порадоваться за нее, но Сандрина молчит, и тогда мать Каролины продолжает. Она говорит, что они с Патрисом поедут в Париж в надежде помочь Каролине вновь обрести память, они возьмут семейные фото: Каролина маленькая, Каролина студентка, и, разумеется, фото Матиаса тоже, и они даже хотят поехать с Матиасом. Но его отец, похоже, против, он сказал, что еще нет полной уверенности, что надо продвигаться постепенно. Анн-Мари говорит это

так, как будто отец Матиаса сморозил какую-то глупость, но Сандрина берет слово, желая всех примирить, и говорит: «Да, он прав, осторожность не повредит. Так будет лучше для вас, Анн-Мари, и, разумеется, для Матиаса, и, несомненно, для...» – она не осмеливается произнести имя первой жены, но потом решается:

– Для вашей дочери...

Анн-Мари мычит:

– Мм... да...

И Сандрина умолкает. Она не хочет включаться в этот хоровод вопросов, не хочет дать Анн-Мари возможность заявить потом: «Сандрина сказала то-то и то-то». Она даже злится на Анн-Мари: зачем, спрашивается, та ставит ее в такое положение? На прощание она предупреждает:

– Я скажу ему, что вы звонили.

Ей хотелось бы, чтобы это не звучало как угроза, – она просто хочет показать, что знает свое место и не желает все усложнять, но Анн-Мари обижается, говорит:

– Ну, как хотите. – И вешает трубку.

Это несправедливо, но в порядке вещей, замок продолжает разваливаться, все вокруг рушится, Сандрина заранее знала, что так и будет. Ее почти утешает это предупреждение о надвигающейся лавине, она сама виновата – вот полностью готовое ложе, давно знакомое, с контурами ее тела, ибо, конечно же, это ее вина, не стоило обольщаться, надо было включить кофемашину с первого раза.

– Мне звонила Анн-Мари, – осторожно сообщает она вечером, когда он приезжает домой. Выкладывает эту новость, ставит на стол салат с рисом и ждет, что будет.

– Где Матиас? Он не хочет спуститься и поздороваться? – отвечает он; тон напряженный, наверное, у него был ужасный день, она видит это по тому, как он не глядя швыряет на стол свой портфель, сшибая уже разложенные приборы.

Она говорит:

– У тебя был трудный день, очень жаль.

Он берет себя в руки, раскаивается, улыбается, и она прощает.

Неуловимый обмен, разговор без слов, и Сандрина вновь превращается в волчицу, готовую любой ценой защитить их жизнь.

– Матиас наверху, потому что я не знала, захочешь ли ты, чтобы он слышал. То, что ты решил, – поясняет она.

Он моет руки, она берет портфель, кладет его на место, потом наводит порядок на столе. Он склоняется у нее за спиной, обнимает за талию. Вдыхает ее запах, и его дыхание выравнивается. Что сказала Анн-Мари? Сандрина не торопясь рассказывает. Очень важно, чтобы он ей поверил, необходимо убедить его, что она ничего не скрывает. Сейчас они оба, они и еще Матиас, против неизвестности, против неопределенности. В это самое мгновение неопределенность катит по шоссе в сторону Парижа. Семейный альбом там, в больнице, докажет, что Анн-Мари и Патрис действительно являются родителями женщины, потерявшей память; они нисколько не сомневаются, что это их родная дочь, и едут за ней. А Сандрина здесь, на кухне, с ним, и они ждут, когда разразится война, и не знают, пора ли поднимать мост у ворот замка и точить клинки, не знают, что делать.

Он сильно стискивает ее живот, спрашивает:

– И все, она ничего другого не сказала?

Другого? Чего другого? Нет, ничего, совсем ничего.

Сандрина выжидает, ей с огромным трудом удается хранить молчание, ведь со вчерашнего дня она хотела кричать, рычать до хрипоты, до потери голоса.

Он говорит:

– Так, слушай, на данный момент еще нет абсолютной уверенности. Я знаю, что говорит полиция про анализы, про базы данных, но иногда они портачат. Да, Анн-Мари уверена, а я нет, и пока у меня есть сомнения, я не стану вмешивать в это дело мальчика.

Сандрина высвобождается из объятий и смотрит в лицо человека, который вчера безжизненным голосом твердил: «Это она, это она». Она недоумевает. Ну да ладно, раз он все же не уверен, это к лучшему, это оставляет ей шанс, неопределенность ее почти устраивает и немного успокаивает, он не уверен, хорошо, пусть так.

Он добавляет:

– Там будет видно.

Там будет видно. Там будет видно, это значит: «Мы ничего не говорим Матиасу, Матиасу ни слова».

Так они и делают. Ужинают втроем, болтая о другом: о пресноватом соусе к салату, о контрольной, которую Матиас написал на отлично. И хорошо, так даже лучше. Больше всего он говорил о контракте, который его сейчас занимает.

Позже, когда Матиас уходит к себе, Сандрина заполняет посудомойку, а он встает и, сунув руки в карманы, начинает вышагивать взад-вперед по гостиной, как будто хочет, чтобы эти нервные расхаживания удержали его, не дали ничего предпринять. Хмуря брови, он снова и снова проходит мимо фотографии в желтой рамке.

Кухня убрана. Сандрина прячет тряпку в шкафчик под раковиной и подходит к мужу. Он прерывает свою беготню и говорит:

– Посмотрим, что будет. Она ли это. Я им не доверяю. Представь, а вдруг это кто-то другой? – Еще он добавляет: – Матиас... – Но обрывает фразу.

Сандрина ему признательна. По меньшей мере у нее есть четкая инструкция. Вот чего он хочет: защитить ребенка. Она смотрит на него, кивает. По этой причине он не торопится вернуть свою первую жену. Он не верит. Он не смеет поверить. Он боится поехать туда. Он боится уехать. Он боится оставить Матиаса. Он боится взять Матиаса с собой. Он боится, что это она, его первая жена. Он боится, что это не она. Его раздражение вызвано тем, что он не знает, что будет. Сандрина понимает его, ох, как она его понимает. Она тоже хочет, чтобы Матиас не пострадал, но всякий раз, когда она говорит это себе, она не может не вспомнить, что он уже не сирота, а она уже не вторая жена, а лишняя.

Они молча отправляются в спальню. Он ложится, напряженный, скованный. Гасит свет, и в лиловом полумраке она видит глубокие складки на его лоснящемся лбу, он морщится от сомнений, он думает только об этом. Вот почему этим вечером он снова погрузил их троих в полупрозрачный пузырь из «там будет видно» и «может, это все ерунда», и она засыпает с мыслями об ужине, как бы обычном ужине, о болтовне на краю бездны и, не отрывая глаз от невесомого пузыря из лжи с его мягкими и переливчатыми очертаниями, наблюдает за его легким кружением и с энергией отчаяния пытается убедить себя, что этот пузырь не лопнет.

5

Он лопнул на другой же день перед обедом. Когда Сандрина, помыв руки, подходит к своему рабочему столу, ее уже ждет взволнованное голосовое сообщение от Анн-Мари. Они с Патрисом смогли ее увидеть, увидеть ту женщину, и это точно она, это Каролина. Голос Анн-Мари, прерывистый от рыданий и звонкий от счастья. Это она, это их дочь, это, это, это такое облегчение! Они говорили с полицией и медиками, обсуждали, как все организовать.

Сандрина не понимает, с какой стати эту новость сообщают ей. Разве это не жестоко? Это как взять и торжественно объявить своей стиральной машине, что ее заменяют на другую модель. Но когда она пытается дозвониться до мужа и несколько раз попадает на автоответчик, до нее доходит. Анн-Мари надо было выговориться. Она звонила им обоим, по очереди, и в конце концов выложила свою великую новость на голосовую почту, счастье переполняло ее до краев, и она нуждалась в том, чтобы его выплеснуть.

Сандрина садится и еще раз прослушивает сообщение Анн-Мари. Да, конечно, начинается, война уже на пороге. Ничего не соображая, она открывает свой таппервер, смотрит на салат, и ее тут же тошнит. Она захлопывает крышку и, пытаясь с собой совладать, дышит медленно, глубоко, ртом. Мимо, направляясь в комнату отдыха, проходит Беатриса с ножами-вилками в руках; она бросает на Сандрину взгляд... «Наверное, со своим разинутым ртом я похожа на толстого карпа, на глупую рыбину», – спохватывается Сандрина.

– Что с тобой? – спрашивает Беатриса с искренне обеспокоенным видом, но она не отвечает, а только хмыкает. Что бы там ни было, а ее состояние никого не касается. И уж точно это не повод прямо сейчас сделаться подружками не разлей вода, думает она.

В ответ на такой отпор Беатриса пожимает плечами и уходит.

– Она и тебе звонила?! Черт, да кто ты такая?

Сандрина обижается, она считает, что это несправедливо, она вовсе не поощряла Анн-Мари, никогда не набивалась ей в собеседницы и уж тем более в наперсницы. Она говорит: «Но ты же не отвечал!», чтобы объяснить, чтобы оградить себя от обвинений, а он вдруг резко, со всей силы, вытянув руку, точно марионетка на пружинах, швыряет тарелку на пол.

Сандрина вздрагивает и втягивает голову в плечи. Ее взгляд прикован к тому месту, где стояла тарелка. Скатерть чуть-чуть сморщилась, вилка немного сдвинулась, и тарелки там больше нет.

Повисает тишина. Она не выносит окриков, порывистых движений; ей не нравится то, как это действует на ее тело, – она застывает в неподвижности, точно кролик перед удавом, и не может даже пальцем пошевелить; от того, что сделал сидящий напротив мужчина, она каменеет.

Он подносит пальцы к вискам, сильно трет лоб, складки кожи ходят под его пальцами.

– Прости.

Сандрина молчит, со стороны она видит себя, сгорбившуюся, за столом и его, напротив, без тарелки.

Он еще раз просит его извинить.

Потом приближается к ней, повторяет, что ему очень жаль.

Сандрина робко начинает себя уговаривать: все нормально, ничего страшного. Она знает, что в последние дни она сама не своя, а он тем более. Она знает, что случившееся выходит за рамки обычного. Ей надо сделать над собой усилие. Иначе она все испортит.

Он кладет горячую сухую руку ей на шею. Она на мгновение прикрывает веки, вспоминает, как он в первый раз таким образом к ней прикоснулся, вспоминает ощущение принадлежности, места под солнцем, вспоминает, как этот простой жест отозвался во всем ее теле.

В памяти всплывает и другое сладкое воспоминание: они идут по улице и он приобнимает ее сзади за шею, от этого она чувствует себя изящной, стройной, желанной. Да, желанной – раз мужчина вот так ее держит, раз мужчина хочет, чтобы она была под рукой. Раз мужчина хочет показать прохожим, витринам, деревьям, что это его женщина. *Ну же, постарайся, сделай усилие.* У него нежные шелковистые пальцы, и Сандрина приходит в себя; она втягивает в легкие воздух, с трудом восстанавливает дыхание и спрашивает себя, как долго она не дышала.

Мне жаль, говорит он еще раз, опускается на пол, кладет голову на колени Сандрине и обхватывает ее ноги. Она растеряна, он тоже растерян, они оба растеряны, это ужасно, но вместе – это главное.

Раздается легкий шорох – Матиас осторожно ступает по мраморным плиткам первого этажа. Его отправили наверх делать уроки, чтобы взрослые могли поговорить. Сандрина надеется, что мальчик ничего не слышал, пока не вспоминает о разбитой тарелке, об острых осколках на полу. Она вздрагивает и говорит:

– Осторожно, не ходи сюда, тут разбилась тарелка.

Она встает, увлекая за собой мужа, и начинает суетиться, щетка, совок.

– Надень тапочки, Матиас, вдруг что-то осталось. – И, чтобы успокоить ребенка, добавляет: – Это я виновата, я уронила тарелку, когда накрывала на стол.

В несколько мгновений осколки выбрасываются, порядок восстанавливается, Матиас сидит за столом, его отец награждает Сандрину нежной улыбкой, он явно тронут ее маленькой ложью, ее желанием избавить его от объяснений, пощадить его. И он говорит:

– Так что ты нам приготовила, а? Пахнет вкусно.

Во время ужина не все хорошо, но лучше, чем было до него.

Вечером Сандрина укладывается в постель в короткой ночной рубашке; она держит в руках книгу, но продвинуться ей не удастся, она пробегает глазами одну и ту же страницу два раза, десять, тридцать. Муж подождал, пока Матиас ляжет спать, чтобы позвонить Анн-Мари, и до Сандрины из гостиной доносится часть разговора; она слышит глухое бормотание и говорит себе: это последнее, что слышат те, кто гибнет под обломками после землетрясения.

Наконец он приходит в спальню, но она не отрывает глаз от книги; она поняла, что вопросы все только усложняют, нужно подождать, когда он будет готов поговорить. Она ждет и под одеялом с остервенением расчесывает себе колено.

Он снимает брюки, носки, футболку, садится в трусах на край постели так, что она видит только его спину. Ногти впиваются в колено, она чувствует, что пальцы уже намокают от крови, и тут он решается нарушить молчание.

Они ее скоро привезут. Эти слова требуют перевода, и Сандрина переводит: Анн-Мари и Патрис привезут Каролину, первую жену.

Они скоро вернутся со своей дочерью, они привезут дочь, утратившую память. Ибо Каролина до сих пор почти ничего не может вспомнить.

Он говорит ровным голосом, может быть, с легким оттенком жалости. Родители думали, что, увидев их, она все вспомнит, но нет, не вспомнила. В общем, им разрешили ее забрать, и теперь всем известно, что это действительно Каролина, и единственное, что ее интересует, это ребенок. Итальянская больница прислала историю болезни, и там говорится, что она рожала по меньшей мере один раз. И первый вопрос, который задала Каролина, увидев двух незнакомцев с покрасневшими глазами: *А ребенок? Анн-Мари и Патрис* сказали: да, ребенок, маленький мальчик, его зовут Матиас.

Они показали фотографии – все впустую. Каролина долго глядела на снимки, рассматривала лицо Матиаса, его великоватые уши, курносый нос, изогнутые темные брови, глаза цвета воронового крыла – и ничего. Теперь Каролина едет. Скоро будет здесь. С Патрисом и Анн-Мари Каролина едет сюда, чтобы увидеть своего сына, чтобы вспомнить своего ребенка. Первая жена возвращается.

Внезапно Сандрину кидает в жар, сердце бьется как сумасшедшее, а он добавляет:
– Они приедут завтра.

Анн-Мари хотела, чтобы ее дочь поговорила с Матиасом по телефону, но кто ж им позволит делать незнамо что и уж тем более незнамо как, там будет видно. И Сандрина успокаивается – чуть-чуть; она понимает, что первая жена вернется не сюда, не к ним, она едет к Патрису и Анн-Мари.

Сандрина выжидает несколько мгновений, хочет, чтобы биение сердца хотя бы немного улеглось. Она не решается спросить, предлагал ли он привезти первую жену сюда, говорил ли он с ней; это опасные вопросы, она не хочет их затрагивать. Но ей необходимо знать, что происходит, она должна быть готова.

Она обдумывает формулировку вопроса и наконец мягко спрашивает:
– Как ты поступишь?

Он сказал:

– Посмотрим на выходные. Я работаю, Матиас в школе. Так что в выходные решим.

Голос его звучит спокойнее, чем в последние дни. Должно быть, он чувствует облегчение оттого, что его жена жива. Это нормально, это нормально, первая жена жива, и у него отлегло от сердца, а чего бы она хотела? – но когда Сандрина представляет, какого рода облегчение испытывает мужчина, который ложится рядом и кончиком пальца гасит в спальне свет, она холодеет всем телом.

В полумраке она закрывает книгу. Поворачивается к окну и кладет голову на подушку. Чувствует, как он прижимается к ней. Хочет обернуться, обнять его, но он сжимает ее слишком сильно, так, что она не может пошевелиться. У него ненасытные, алчные руки. Он стискивает голое бедро Сандрины, коротко трется о ее трусы, потом резко сдергивает их и проникает вовнутрь. У нее все слишком сухо, ей хотелось бы взять тюбик со смазкой, который лежит у нее в тумбочке на тот случай, когда она не успевает увлажниться, но времени нет, все кончается очень быстро, и после нескольких грубых толчков он рычит почти как зверь и отпускает ее. Теперь она может обернуться, дотронуться до его руки, плеча, легкими жестами попросить, чтобы он в свою очередь успокоил ее, обнял. Далеко не всегда они хотят одного и того же в одно и то же время, и в этом нет ничего страшного, но сейчас он поворачивается к ней спиной и бросает Сандрину одну в душной ночи с теплой и липкой спермой между ног. Она поднимается и ощупью идет в ванную комнату. Первым делом садится на унитаз, чтобы дать стечь последним следам извержения. Колено разодрано, струйка крови стекает вниз по ноге. Она принимает теплый душ; промежность слегка горит. Потом она вытирается и роется в ящике в поисках заживляющего бальзама. Наконец возвращается в спальню, надевает чистые трусы, бюстгальтер, который ей слегка жмет, пижаму; знакомые защитные вещи успокаивают ее, и в голове у нее крутится одна и та же мысль: она ему небезразлична, он хочет ее, он хочет ее сохранить. Эта мысль должна ее утешить, и она повторяет снова и снова: я спокойна, я спокойна. Но ночь то и дело прерывается отвратительными, кровавыми снами, в которых первая жена вселяется в нее, точно паразит, а потом вылезает из ее тела, разрывая все на своем пути.

6

Первая жена должна прийти к ним в воскресенье. Пока она остается у своих родителей. Сандрина не знает, о чем он договорился с Анн-Мари и Патрисом. Она знает одно: в воскресенье первая жена придет к себе домой. Нет, не к себе, а к *ней*, к Сандрине. Чей этот дом? Чей это муж? Чей это сын? И чего ждут от нее и от первой жены? Что они встанут в очередь, начнут драться, поделят все пополам? Вечером, когда муж проникает в нее и топит свое смятение в мягкой утешающей плоти, Сандрина обретает кое-какую уверенность; потом он засыпает, и она всю ночь ворочается с зажатым нутром и разгоряченной промежностью, ей кажется, что она барахтается в зыбучих песках.

В субботу она просыпается ни свет ни заря и с трудом приходит в себя. Проверяет запасы, составляет список покупок. Выходит из кладовки, закрывает дверь. На косяке видны отверстия от шурупов, память о втором замке, который он снял, когда Матиас подрос. Мысль о малыше немного успокаивает. Она едет в магазин. Свет режет глаза, очертания улиц и круговых перекрестков прорисовываются очень четко, как декорации к фильмам. В супермаркете бродит по отделам, дотрагивается до знакомых продуктов. Читает этикетки: частично гидрогенизированное растительное масло, наши сельхозпроизводители отличаются изобретательностью; эти пустые, привычные и безобидные слова облекают ее в покров обыденности и нормальности.

Когда Сандрина возвращается, он все еще спит, а Матиас тихо играет в углу гостиной. Она начинает раскладывать покупки и спрашивает мальчика, что он хочет завтра на обед. Матиас мог бы спросить: «А что? Что завтра будет?», но вместо этого он думает и просит шоколадный пирог. Его отец спускается по лестнице, скрипучая ступенька, как полагается, скрипит в свое время, и Сандрина вспоминает то утро, когда она старательно ее перешагнула, но не сумела запустить кофемашину. Ей кажется, что с той поры прошло много-много дней, а это было чуть ли не вчера.

Надо сварить кофе, но он, помахивая ракеткой, говорит, что идет на корт с Жан-Жаком. Потом осматривает кухню, гостиную, кривит губы. Что-то ему не нравится.

– Матиас, убери игрушки, нечего разбрасывать их где попало.

Матиас у себя в уголке с двумя пластиковыми динозаврами что-то бормочет.

– Что ты сказал? Матиас, ты что-то сказал?

– Да, – снова бормочет ребенок, – да.

Сандрина смотрит на мальчика и на его отца. Матиас еще ничего не знает, наверное, ему объявят о матери вечером. У его отца заspanные глаза, хоть он и умылся прохладной водой; черты лица заострились, тонкие губы вытянулись в ниточку. Он плохо спал, и ему не по себе. Теперь она это видит, она все поняла. Он любил Каролину, он сам это сказал, хотя ему было трудно говорить о своей первой жене; да, любил, хотя однажды признался, что она, Сандрина, возвратила его к жизни, заставила вновь забиться его умолкнувшее сердце. Он любил ее, ту, предшественницу, и Сандрине не нужны были слова, чтобы это знать, она же помнила, как он плакал в тот день в телевизоре; он любил свою жену, но она пропала, считалось, что она погибла, и он страдал. Теперь он любит ее, Сандрину, и нет ничего проще.

– Не волнуйся, – просит она. – Мы сейчас все уберем. Правда, Матиас?

Ее муж уходит со спортивной сумкой через плечо. Она не варит кофе, таинственный запах тунца по-прежнему исходит из таппервера, даже если никто, кроме нее, этого запаха не чувствует. Заливает горячей водой пакетик с травяным чаем и смотрит, как Матиас уплетает два круассана, купленные утром для него и его отца. Она есть не хочет, кусок не лезет в горло.

Покончив с завтраком, Сандрина включает пылесос. У Матиаса свои обязанности: он выносит мусор, стирает пыль с нижних полок большого книжного шкафа с серьезными книгами, который стоит у стены в глубине гостиной. Оба сосредоточены, Матиас старается, и

комок у Сандрины в горле потихоньку рассасывается. Несколько раз, совсем ненадолго правда, ей удастся даже забыть, почему они затеяли такую большую уборку и делают все еще более тщательно, чем обычно.

Утро проходит. Погода портится, на землю падает несколько капель, и Сандрина радуется, что не начала с мытья окон. Она показывает Матиасу, как выбрать программу на стиральной машине. Очень скоро он сам ее запускает и обменивается с Сандриной заговорщическим взглядом – его отец не желает, чтобы сын «обабился», а Матиасу нравятся кухня, приправы и ингредиенты, свое место для каждой вещи. Когда приближается время обеда, она готовит салат и поджаренные хлебцы с сыром и ветчиной для Матиаса. Это исключительный день, она не посылает никаких СМС-сообщений, не спрашивает, когда придет муж, что будет есть. Когда он играет в теннис, он проводит вне дома почти весь день, перекусывает, ходит в ресторан. Это его личное время, которое идет ему на пользу, и она его не дергает.

Около трех часов звонят в дверь, она думает, что муж забыл ключи, быстро оглядывается кругом и удовлетворенно вздыхает: порядок безупречный. Матиас сидит в носках на диване, уперев подбородок в колени, и смотрит мультики, он это заслужил. Сандрина идет открывать с тряпкой в руке; но это не он.

Там двое: она – худая с мужской выправкой, он – с седеющими висками и обветренными щеками; они что-то говорят, а Сандрина думает – она их где-то уже видела. Все стоят и смотрят друг на друга. Матиас, заинтригованный тишиной и осмелевший после победы над стиральной машиной, прижимается сзади к ее ногам.

Она копается в памяти, пока они спрашивают, дома ли отец Матиаса. Да, вспомнила. В день Белого марша. Нет, его нет дома, отвечает она. Пара хочет войти ненадолго, и она теряется. Она знает, что должна сказать «нет». Она знает, что в этом доме она не хозяйка. Что она не может решать. Вот уже несколько дней, как появление Каролины, первой жены, напоминает ей об этом с бесчеловечной настойчивостью; сегодня, к примеру, мысль о Каролине с большим трудом оставила ее только перед обедом.

Тем не менее они заходят, хотя Сандрина так и не поняла, с чего они приняли ее смущенное молчание за приглашение. Все, что ей удастся выдать из себя, это: «Полы! Я только что вымыла пол!» Они озадаченно застывают. И в это мгновение Матиас ускользает и приносит чистые прямоугольные насадки на швабры. Протягивает их гостям, те вставляют в них ноги и шествуют, будто императорские пингвины, в сторону дивана. Она не хотела их впускать, не хотела позволить им сесть, но вот они вошли и сели. И что теперь?

– Когда он вернется? – спрашивает мужчина.

– Часам к четырем или позже.

Сандрина смотрит главным образом на женщину, на ее тонкие руки, обтянутые рукавами черной куртки; унылый дождь, который все никак не решается пойти в полную силу, оставил пятна на матовой коже, и ей, этой женщине, должно быть, жарко.

Незнакомец представляется. Они из судебной полиции. Они вели следствие по делу о пропаже Каролины, супруги господина... Может быть, нам поговорить в другом месте? Женщина обрывает себя на полуслове, взглянув на Матиаса. Малыш отрывается от дивана, на котором только что устроился, и безропотно идет наверх. Сандрина ждет, пока проскрипит ступенька, и только потом отвечает:

– И что? В чем дело?

– Теперь мы узнали, что она нашлась. Именно к нам обратились из больницы. Именно мы сообщили Маркесам. И ее мужу, разумеется. Мы говорили с ним этим утром, вы знали об этом?

Женщина не спрашивает, а скорее настаивает, и Сандрина не понимает, зачем все это. Само собой, они с ним разговаривали, это же его жена. Чего они от нее добиваются, что хотят услышать в ответ? Все это как-то ненормально.

Полицейская добавляет:

– Это мы ему звонили, потому что мы с ним хорошо знакомы, с мужем Каролины. Мы допрашивали его после ее исчезновения. Он был под подозрением. Вы это знали?

Сандрина ничего не понимает. Сандрина ничего не говорит. Сандрина больше ничего не слышит.

Ей непонятно, что делают здесь эти люди, усевшиеся на диван, что дает им право откидываться на подушки и говорить такие вещи... говорить, что ее муж находится... находился под подозрением, смотреть на нее в упор, без стеснения рассматривать журнальный столик, книжный шкаф, подставку под телевизор, все, с чего она смахнула пыль, заглядывать дальше, в кухню; их взгляды все портят, пачкают... В это мгновение она слышит за окном шум мотора, и ей нет надобности видеть своего мужа, чтобы понять – он колеблется. Он не мог не заметить незнакомую машину на площадке у дома и теперь задается вопросом, кто к ним приехал. Она слышит, как тихо, тише, чем обычно, поворачивается ручка двери, он заходит, и Сандрина сразу же понимает, что ее муж взбешен. Полицейские не торопясь встают с дивана. Особенно медлит женщина, она ничуть не смущена и, похоже, чувствует себя как дома; поднимается, опершись ладонями на колени, поправляет джинсы, руки не протягивает.

Отец Матиаса переоделся после тенниса, на нем чистые брюки и голубая рубашка, он выглядит элегантно рядом с полицейскими в темных футболках и потертых джинсах; он любит быть в прямом смысле слова *ухожженным*, любит вызывать уважение у тех, кто ему неприятен, его мокасины хорошо начищены, на одежде ни одной лишней складки. Он подходит к Сандрине, которая, зная его наизусть, видит в его глазах досаду и возмущение. И хотя он предельно вежливо здоровается, по биению жилки у него на лбу, по сжатым кулакам, засунутым глубоко в карманы, она тут же догадывается: он их ненавидит, обоих, и особенно женщину.

Сандрина его понимает. Очень хорошо понимает. Они проникли в его дом без всякого стеснения, да еще косо на него смотрят. Они его не уважают, особенно эта дама, и это сразу чувствуется: полицейская ниже ростом, но, можно сказать, она смотрит на него сверху вниз. Сандрина видит: в этой незваной гостье нет ничего, что может ему понравиться, ничего из того, что он одобряет, в ней ни капли женственности, она небрежно причесана, таких особ, несмотря на их крепкие руки и плоские животы, он презирает, и тут уж можно быть спокойной, хотя это меньшее, о чем ей сейчас надо волноваться, – эта женщина не соперница ей, безоружной, ни с кем не сражающейся на равных.

Он слегка дернул локтем, и Сандрина неуверенно шагнула в сторону кухни. Знак был, но не было указания – понятно, тут дело не в том, чтобы предложить им кофе. Поколебавшись, она в конце концов уходит, сославшись на Матиаса: посмотрю, сделал ли он уроки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.